

МАКСИМ ЗАМШЕВ

# КОН- ЦЕРТ- МЕЙ- СТЕР

Умно, изящно, увлекательно — настоящая европейская проза.  
Александр Мелихов

*Среднеклассовое*

Управлен

Отд

Нар

1-137

Д

№

3623

о обвинению

*Ворова*  
судеб  
чато " 7

ончено " 8

После судеб  
приговора  
немедленно  
отдел МВД  
приобщен  
Основани  
НКЮ Со  
года.

х. №

ано в

*Михайлов*  
*Средне*  
*но твоя*

ТОМАХ

подящих  
е следстве  
е взятых из а  
е от елы ил  
тя и врем  
ключи  
ициал

едственной  
я постанов  
емым на  
сующего  
или

*1/1111*  
*121*  
*1/1111*

Максим Замшев  
**Концертмейстер**

«Азбука-Аттикус»

2020

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Замшев М. А.**

Концертмейстер / М. А. Замшев — «Азбука-Аттикус», 2020

ISBN 978-5-389-19179-2

Год 1947-й. Медработник Людмила Гудкова крадет из больницы морфий для своего друга композитора Александра Лапшина. Год 1951-й. Майор МГБ Апполинарий Отпевалов арестован как причастный к деятельности врага народа, бывшего руководителя МГБ СССР Виктора Абакумова, но вскоре освобожден без объяснения причин. Год 1974-й. Органы госбезопасности СССР раскрывают сеть распространителей антисоветской литературы в городе Владимире. Год 1985-й. Пианист Арсений Храповицкий звонит в дверь собственной квартиры, где он не решался появиться более десяти лет. Каким таинственным образом связаны между собой эти события? Как перебороть себя и сохранить в себе свет, когда кругом одна тьма? Об этом и о многом другом роман Максима Замшева «Концертмейстер».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-19179-2

© Замшев М. А., 2020

© Азбука-Аттикус, 2020

## Содержание

Часть первая	6
1985	6
1948	12
1953	16
1985	23
1953 и далее	25
1948	28
Часть вторая	32
1962 и далее	32
1948	35
1970	38
1948	44
1985	45
1948	51
1985	52
Часть третья	53
1948	53
1985	60
1948–1949	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Максим Замшев

## Концертмейстер

© М. А. Замшев, 2020

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

Максим Замшев родился в 1972 году в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А. М. Горького. С двухтысячных годов публикуется как поэт, прозаик и литературный критик. В 2017 году роман Замшева «Весна для репортера» номинировался на премию «Национальный бестселлер». Главный редактор «Литературной газеты». Член Совета по развитию гражданского общества и защите прав человека при Президенте РФ. Член наблюдательного совета премии «Лицей».

\* \* \*

О чем бы ни говорил писатель, в конечном счете речь у него всегда о человеке. Роман Максима Замшева вроде бы о музыке, но на самом деле – о человеческих отношениях, чередовании созвучий и диссонансов. И то и другое на фоне музыки достигает своего пика, становится в буквальном смысле слышимым. С одной стороны – советский быт, с другой – проникновение в сферу абсолютной гармонии: музыкант всегда стоит на границе повседневного и вечного. Только от него зависит, в какую сторону он направится.

*Евгений Водолазкин*

В романе «Концертмейстер» Максим Замшев отправляет читателей сначала в середину восьмидесятых годов XX века, потом в конец сороковых, потом в семидесятые. Времена выбраны не случайно: автор пытается докопаться до сути тех ключевых периодов нашей недавней истории, которые изменили нас, сделали такими, какие мы есть. Это большой настоящий роман, со множеством линий, с высочайшей степенью сопереживания героям, с головокружительной интригой, разрешающейся в самом конце. Чтение «Концертмейстера» – увлекательное и незабываемое приключение.

*Павел Басинский*

Роман «Концертмейстер», глубиной в три поколения, подобно античной мозаике, сложен из цветных фрагментов, но картина мира, созданная автором, получилась осязаемо цельной, органичной и живой. Замшев чуток к своим персонажам, знает их помыслы, слабости и нужды, он, словно дух семейного очага, незримо парит над их жизнями, карая и милуя честно – без позы, зависти и суеты.

*Павел Крусанов*

## Часть первая

### 1985

1985 год в СССР заканчивался как любой другой. Люди привыкали к зиме и её неудобствам, ждали новогодних праздников, строили планы, гонялись за дефицитными продуктами и одеждой, искали в телевизионных программах и афишах кинотеатров что-нибудь хоть маломальски увлекательное и представления о мире составляли преимущественно из газет и сплетен. Восьмидесятилетний композитор Лев Семёнович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано, газет давно не читал и сплетням не верил. Полагал всё это пустым, лишним и лживым. Всего мелкого, суетливого, житейского он сторонился. Не на шутку раздражался, когда его дочка Светлана Львовна, по мужу Храповицкая, вовлекала его в разговоры о ничего не стоящей бытовой чепухе или, не дай бог, о том, что где-то вычитала или услышала.

Живо интересовался Лев Семёнович лишь делами своего младшего внука Дмитрия. В этом году тот заканчивал школу, впрочем в последние месяцы старика больше волновало то, что Димка, похоже, всерьёз увлёкся дочерью их соседа по подъезду, музыковеда Эдварда Динского. В Динском Норштейн разочаровался, когда тот принялся строчить одну за одной статейки, проклинавшие композиторов-авангардистов. Лев Семёнович хоть и не испытывал восторга от музыки Денисова, Кнайфеля, Смирнова, Губайдулиной, Фирсовой и других, попавших в 1979 году под огонь критики руководителя Союза композиторов СССР за буржуазный модернизм, всё же был на их стороне. Динский же, как и другие деятели, вовсю принявшиеся после той истории подпевать Хренникову, сочувствия не вызывали.

Не хватало ещё породниться с Эдвардом!

Норштейн часто вспоминал, как спустя несколько дней после зубодробительного выступления Тихона Николаевича Хренникова случайно услышал разговор заведующего кафедрой композиции Московской консерватории Альберта Лемана с Еленой Фирсовой. Леман назойливо выспрашивал у женщины, что у них произошло с Тихоном Николаевичем, и рекомендовал прийти к первому секретарю Союза композиторов и повиниться. Дело было в подмосковном Доме творчества композиторов «Руза», в умиротворяющий послеобеденный час, на скамейке напротив столовой. Тогда он подумал: хорошие времена! – при Сталине после такого разноса его жертвам было бы не до летнего отдыха. Потом околмузыкальная общественность выработала версию: Хренников якобы рассвирепел, что модернисты без согласования с ним и иностранной комиссией Союза композиторов отдали свои сочинения для исполнения на Западе. По тем временам это приравнивалось к преступлению и требовало наказания. Более того, на концертах из произведений советских модернистов в Берлине и Париже наблюдался невиданный аншлаг. К опусам же самого Хренникова на Западе такого интереса никогда не возникало. Судачили также и о том, что после пленума лидер авангардистов Эдисон Денисов объявил Союзу композиторов непримиримую войну.

Но Норштейн в это не верил.

Ни в мотивацию Хренникова, ни в войну Денисова. Он давно жил и не раз убеждался, что такие вещи так просто не объясняются.

Ещё не так давно Норштейн о симпатии внука не подозревал. Но как-то, около месяца назад, во время своего очередного, ни в какую погоду, кроме проливного дождя, не отменяемого моциона Лев Семёнович наткнулся на молодых людей о чём-то взахлёб болтающих на скамейке, довольно нелепо и одиноко кривившейся под облетевшими липами на краю детской площадки. Норштейна первой заметила Аглая, резко замолчала, тронула Диму за рукав. Тот,

обернувшись, смутился, покраснел. Как и многие подростки, Димка раздражался, когда родные набивались в свидетели его горячих увлечений.

Короткий разговор деда с внуком получился вымученным. Аглая нетерпеливо ёрзала, хоть и улыбалась Льву Семёновичу так, будто только его мечтала сейчас встретить.

Норштейн огорчился. Поведение внука выдало его с головой. Лучше бы он влюбился в какую-нибудь одноклассницу!

Аглая всегда выделялась среди сверстниц. Нет, она не блистала красотой, но нечто такое присутствовало в её ямочках на щеках, в прямых русых волосах, в изящной повадке, в улыбке с мягким прищуром, что вынуждало память зацепить её образ и больше не отпустить.

«Какой она выросла? А вдруг девица так же цинична, как её папаша? – терзался Лев Семёнович. – Тогда Димка обречён страдать. Наверняка у неё полно ухажёров. Вряд ли она относится к мальчишке серьёзно. Так, баловство».

Норштейны жили в доме Союза композиторов, на улице Огарёва, 13. Дом был построен в 50-е и теперь выглядел памятником монументального строительства. Его длинное многоподъездное тело врезалось в улицу Огарёва под прямым углом. Тут же находились и Дом композиторов, и Союз композиторов, и нотная библиотека. Музыкальный город в городе. Казалось бы, чего ещё желать? Понадобится поговорить с кем-то из композиторского начальства, далеко ходить не надо! Да и соседи сплошь музыканты, родные души! Но Норштейн с недавнего времени относился к своим коллегам по цеху не без прохладцы и от общения с ними восторгом не преисполнялся.

Чем так провинились советские композиторы перед Львом Норштейном? В общем-то, ничем. Просто после смерти Шостаковича Норштейн начал стремительно разочаровываться в композиторской профессии. Его преследовала мысль, что многовековое обновление музыкального языка окончательно исчерпано. После великих Прокофьева и Шостаковича ни у кого больше ничего сравнимого с их шедеврами не получится. Все поиски уже давно свелись к музыкально смысловой неразберихе и обречены на почти немедленное забвение. Скоро серьёзная музыка будет доставлять удовольствие лишь профессионалам, превратится в череду тембровых и формальных фокусов, в брызги авторского эго. А от всего огромного числа советских композиторов, безмерно тщеславных, амбициозных и социально обеспеченных, скоро останется пшик. «А как же Свиридов?» – спрашивал он себя. Исключение, потонувшее в странных философских омотах, невероятный талант, ни с того ни с сего возомнивший себя тем, кто решает, что для русской музыки хорошо, а что плохо.

Поначалу он пугался себя, но остановиться и забыть этот морок не выходило. Чем чаще он размышлял об этом, тем больше находилось примеров, подтверждающих его горчайшую правоту. Увы... Теперь его охватывало жалостливое презрение к себе и другим сочинителям музыки, тщетно пытавшимся чего-то достичь.

Нельзя быть не гением, когда в мире столько гениальной музыки!

Сознавал ли сам Норштейн, что его настраивала на такой пессимистический лад трагедия Александра Лапшина?

Тот, кто мог стать первым в русской музыке, затерян в глубине своей нелепой судьбы и не собирается из неё выбираться.

И уже не выберется.

С Лапшиным Норштейна в конце тридцатых познакомил Николай Яковлевич Мясковский, в классе которого тот учился на несколько лет позже, чем сам Лев Семёнович. После окончания консерватории Норштейн сохранил с учителем близкие творческие отношения, и Николай Яковлевич не возражал против того, что его бывший ученик частенько заходит к нему и наблюдает, как он занимается с новыми дарованиями. Лапшина Норштейн сразу выделил из других студентов-композиторов. Даже внешне он отличался – интеллигентный, собранный, тонкий, ни грамма бравады. Да и работы его обращали на себя внимание особой орга-

ничностью, стремлением индивидуализировать каждую фразу. Запомнился Льву Семёновичу тот день, когда Шура показывал учителю дипломную работу, вокально-симфоническую поэму «Цветы зла» на стихи Бодлера. Звучало ошеломляюще свежо и талантливо. Норштейн ликовал, но Мясковский хмурился, будто предчувствуя жуткую драму, ожидавшую Лапшина в будущем.

То, что Шуриньку лишили консерваторского диплома из-за этой поэмы, сочтя её упаднической, ещё полбеды. Потом судьба, сменив гнев на милость, сделала его в 1941 году членом Союза композиторов, оставила живым в ополчении, куда он записался сразу после начала войны, и дала возможность с 1945 по 1948 год преподавать в Московской консерватории. И даже то, что его в разгар борьбы с космополитизмом выгнали с работы, обрекая его семью на полуголодное существование от одного случайного заработка до другого, можно было стерпеть – всё же не арестовали и не убили. Но после реабилитации и возвращения в Москву в 1956 году Веры Прозоровой, сообщившей всему музыкальному сообществу, что Александр Лапшин донёс на неё в органы, – жизнь Лапшина превратилась в настоящий ад.

Тогда вернувшимся из ГУЛАГа верили безоговорочно. А среди друзей Прозоровой были Рихтер, Нейгауз, Фальк, Пастернак. Лапшина отвергли, его проклинали, с ним демонстративно не здоровались, не хотели разучивать его произведений. Возможность дать ему объясниться даже не обсуждалась.

После смерти тиранов пострадавшие от них обретают тираническую беспощадность к виновным в своих бедах.

В 70-е, до отъезда в Израиль, только Рудольф Баршай осмеливался исполнять музыку Лапшина. Лев Семёнович посетил один такой концерт. Сочинения по-прежнему трогали, стилистически оригинально продолжали Малера, при этом звучали удивительно по-русски чисто и трогательно. Но клеймо предателя всё же нарушило нечто в лапшинском идеально гармоничном строе, ноты будто чем-то перебалывали и не могли никак справиться с нарастающей хворью.

Норштейн огорчился.

Как же жаль Шуриньку!

Когда он окликнул Александра Лазаревича, выходящего из служебного подъезда Большого зала консерватории, тот не обернулся. «Может быть, не услышал?» – успокоил тогда себя Лев Семёнович.

Верил ли Норштейн в то, что Лапшин стукач? Прозорова приводила серьёзное доказательство: следователи при допросах продемонстрировали знание того, что она обсуждала только с ним. Александр Лазаревич никогда не пытался публично оправдаться. Многие полагают, что этим он всё признаёт.

История Лапшина, как паутина, опутывала сознание Норштейна и, как он ни стремился скрыться от неё, мучила вопросами.

Как такое могло случиться?

Если Лапшин доносчик, это ужасно. Но способен ли столь подлый человек создавать такие потрясающие произведения?

Исключать, что Александра Лазаревича оклеветали, тоже никак нельзя! Тогда почему никто за него не вступает? Не возвращает ему доброе имя?

Это, да и не только это, с годами разъедало Льва Семёновича, и в один решительный момент он признался себе, что больше не имеет никакого желания сочинять музыку.

Ночью по Москве кружила пурга, забираясь во дворы, в домовые ниши и углы, дразня немигающие фонари и отсыревшие афиши, проверяя на прочность кривые провода и печально-вытянутые антенны, мелко стуча в молчаливые двери и заклеенные окна, заставляя случайных ночных прохожих понижать головы. Это было похоже на то, как оркестр из

снежинок на время лишился бы дирижёра и пребывал бы в разрушительном хаосе, потеряв и форму, и содержание. Ветер, как охрипший бас, силился взять ноту, но всё время срывался и от отчаяния хватался за стволы и ветви деревьев, яростно раскачивая их туда-сюда.

Тревожно подрагивали стёкла в большой квартире на седьмом этаже в композиторском доме на улице Огарёва. Только под утро природа унялась, и снег пошёл крупно и ровно, почти вертикально.

Лев Семёнович против обыкновения спал неважно. Сон сваливался на него тяжёлыми удушливыми клочками, а мягко обнял только под утро. Приснилась покойная супруга Машенька, которая не являлась уже несколько лет. Во сне она что-то тихо пела высоким, почти колоратурным сопрано, звуки мелодии разливались легко и привольно. Узнавался дивный романс Александра Власова «Бахчисарайский фонтан». Маша при жизни, слушая его, всякий раз не удерживалась от слёз. Дальше сон обрёл нежданную упругость, такую, что Норштейн проснулся в давно забытом беспокойстве, которое, правда, быстро сошло на нет, но приятное цельное тепло в теле какое-то время ещё оставалось.

Лев Семёнович разглядывал падающие снежинки. Он не позволял никому зашторивать окна у себя в комнате. Мир за окном ничем ему не мешал.

Сейчас в голове навязчиво и зримо проигрывалась прелюдия Дебюсси «Шаги на снегу». К чему бы это?

Похоже, дочь и внук ещё спали.

Лев Семёнович нащупал тапки и осторожно поднялся. В коридоре успокаивающе пахло книжной и нотной пылью. Он тщательно умылся в ванной прохладной водой и, стараясь не шуметь, вернулся к себе в комнату.

Он уже много лет не позволял себе отказываться от утренних приседаний, даже если чувствовал себя скверно. Восемьдесят повторений! Надо согнуть и разогнуть колени столько раз, сколько тебе лет. Светлана чуть ли не каждый день как заведённая твердила, что это опасная, непозволительная для его возраста глупость, что рано или поздно это кончится инсультом или инфарктом, но Лев Семёнович упорно ничего не менял в своём распорядке.

После приседаний организм заводился, чтобы ровно и надёжно доехать до вечера, а потом снова спрятаться в сны и там набраться сил для следующего дня.

Норштейн гордился тем, что выглядит максимум лет на 65 и никого в своём возрасте не стесняет.

За окном неохотно светлело. Рассвет подбирался к субботнему городу, чтобы установить свой неброский дневной порядок часов до пяти вечера.

О смерти Норштейн не думал, не подпускал её к себе – находясь от неё на расстоянии, намного легче уверить себя в её несерьёзности. За долгую и ухабистую жизнь он пришёл к выводу, что люди, боящиеся собственного ухода, как правило, ни во что не ставят жизни других. И поэтому страх того, что тебя когда-то не будет, представлялся ему постыдным и недостойным нормального человека.

Боязнь умереть – непростительный эгоизм.

Глядя на неторопливые, исполненные достоинства белые хлопья, он прислушивался к хорошо знакомым звукам, доносившимся из комнаты Светланы. Вот длинно скрипнула дверь гардероба. Значит, она собирается одеваться. Всю свою одежду, и домашнюю, и уличную, дочь всегда аккуратно вешала в шкаф. Не терпела, когда что-то висело на стульях, а тем более валялось на диванах или, не дай бог, на полу. Отчаянно сердилась из-за этого. Это у неё от матери, считал Норштейн. Та тоже была помешана на порядке и чистоте.

Между тем Арсений, его старший внук, уже почти два года не приезжал в Москву. Да и по телефону они разговаривали всё меньше. Вот и пару дней назад, когда он, выбрав момент, набрал его номер, трубку никто не взял. Опять на гастролях? Или просто так совпало, что

его нет дома? Или всё-таки их общение, как всё запретное, истончилось до предела и вот-вот оборвётся?

Нельзя в это верить. Так не будет. Не может быть так.

Он почти смирился с тем, что два его внука растут порознь. Но не терял надежды на то, что когда-нибудь всё изменится и встанет на свои места.

Светлана заглянула к нему. Убедившись, что отец не спит, удалилась на кухню готовить завтрак.

Вчера в магазине «Диета» на Кутузовском проспекте выдали очередной продуктовый заказ от Союза композиторов, поэтому Лев Норштейн и его дочь Светлана могли позволить себе на завтрак индийский растворимый кофе и бутерброды со свежим российским сыром и финским сервелатом.

Членам творческих союзов, чтобы оградить от изнурительного стояния в очередях, государство даровало милость: их прикрепляли по месту жительства к продовольственным, где раз в неделю в «отделе заказов» они скромно отоваривались, а по праздникам и вовсе шикарно; ассортимент такого заказа не обходился без красной и чёрной икры, дефицитной осетрины или горбуши, крабов, импортных колбас и прочих гастрономических редкостей того времени.

Сегодня внука к завтраку решили не будить. Пусть поспит в выходной.

Светлана Львовна, допивая кофе, обречённо посмотрела в окно, в котором с недвижимой сахаристостью белели крыши окрестных домов, потом перевела взгляд на старика, словно призывая его в соучастники чего-то неотложного и наиважнейшего. Норштейн никак не реагировал на это, сосредоточенно намазывая столовым ножом из светло-серой матовой стали масло на хлеб. Догадывался, что сейчас услышит.

Будильник тикал назойливо и бессердечно.

На подоконнике с внешней стороны притулился голубь и, похоже, чувствовал себя в полной безопасности, иногда чуть поворачивая втянутую в туловище голову, а иногда замирая. В тёплое время года Норштейн кормил на окне множество воробьёв и голубей. Светлана Львовна ворчала, что от птиц одна антисанитария, но справиться с этой отцовской прихотью не могла. Пару раз, когда дочь особенно расходилась, Лев Семёнович переходил в ответ на резкий тон, обвиняя её в чёрствости и возмутительном птицененавистничестве.

– Днём снег наверняка кончится, и его начнут сбрасывать с крыши. Эта дура Толстикова, естественно, не догадается вовремя поставить ограждения. Точно прибудет сегодня кого-нибудь. Пойдёшь гулять – будь осторожен, папа. Когда же нас избавят от этой невежественной женщины?! Говорят, на неё жалоб целая куча. Но в Союзе композиторов вашем ничего не хотят предпринимать. Ты не планируешь позвонить в Музфонд Восканяну или, может, Терентьев наконец вмешается? Сколько мы должны мучиться?

Лев Семёнович давно убедился, что неутомимая борьба дочери с управдомом Толстиковой – это её дань пресловутой «гражданской позиции», с годами окончательно пришедшей на смену увлечениям её молодости и почти непоправимо искорежившей её натуру.

Её невозможно было убедить в том, что Глафира Толстикова, жизнерадостная, краснолицая, вероятно, вороватая и не вполне добросовестная тётка, и не могла быть другой. Трудно представить управдома, читающего под подушкой самиздат, а по вечерам декламирующего в дворницкой Северянина. Если такой управдом когда-нибудь появится, человеческое сообщество рухнет в пропасть, как отвалившийся от скалы кусок.

Норштейн глубоко и безнадежно вздохнул, перед тем как в очередной раз начать объяснять дочери, что не намерен обращаться ни в Музфонд, ни в Союз композиторов по поводу управдомовских бесчинств, но в этот момент в дверь позвонили. Позвонили так неожиданно и

так настойчиво, что Лев Семёнович вздрогнул и чуть было не пролил кофе. Светлана Львовна нахмурилась. Обратилась к отцу:

– Ты ждёшь кого-то?

– Кого я могу ждать? Наверно, к тебе кто-то.

Звонивший настойчиво давил на кнопку, потом прекратил.

Светлана торопливо подошла двери, строго спросила:

– Кто там?

– Это я, мама...

Глазка в их двери не было.

– Кто? – Женщина отказывалась верить своим ушам.

– Арсений, – отозвался голос, совсем не изменившийся за эти годы.

Одна её рука рванулась к замку, быстро провернула его, вторая – потянула ручку на себя.

На лестничной клетке, в чёрной, с остатками снега на козырьке шапки-ушанки и в поношенной дублёнке, переминался с ноги на ногу её непрощённый старший сын Арсений Храповицкий.

В прихожую залетал колкий неуютный холод.

– Пустишь? – робко спросил он.

Ответа не последовало. Светлана Львовна замерла. Ни один из её инстинктов сейчас не подсказывал ей, как себя вести.

Она чуть посторонилась. Арсений, приняв это за разрешение, перешагнул порог когда-то родного дома, неловко обнял окаменевшую Светлану Львовну и сразу почти отошёл от неё на шаг, будто обжётся. Потом снял шапку, некоторое время рассматривал её, провёл рукой по волосам.

Румянец заливал его щёки.

– Кто там? – крикнул Лев Семёнович из комнаты.

– Арсений, – ответила Светлана Львовна так, будто в этом не было ничего необычного.

Услышав это, Лев Семёнович, вмиг сбросив несколько десятков лет, выскочил в коридор и кинулся обнимать внука. Обнимал долго, что есть силы прижимал к себе, тыкался сухой щекой ему в волосы, ощупывал, похлопывал по плечам.

Младший брат Арсения Дима проснулся и всё слышал. Неужели это не сон? И как теперь быть?

## 1948

Шура Лапшин со своей болью играл в прятки, и она всегда его находила. Имело значение только то, в каком месте она его настигнет и что с ним после этого сотворит. Сегодня боль, тягучая, всепоглощающая, поднимающаяся от живота к венам на шее, а потом обваливающаяся вниз, почти до самых пальцев ног, прицепилась к нему, как только он вышел из консерватории на заснеженную и растекающуюся темноватыми переулками в разные московские стороны улицу Герцена. Лапшин не сомневался, что дело его «швах». Хотя «дело швах» оборот всё ещё опасный. Ляпнешь где-нибудь, и заподозрят, что ты немецкий шпион. Война, конечно, кончилась. Но многое от неё осталось.

Нет, сегодня он не попадёт к себе. Надо спастись у Людмилы, на Борисоглебском. У неё всегда есть для него морфий. Она работает в больнице, где и достаёт наркотик. Вероятно, это очень рискованно. Но без дозы он пропадёт.

Боль заслоняет всё.

Лапшин всмотрелся в перспективу улицы – не ползёт ли вдалеке автобус, – но ничего похожего не обнаружил.

Придётся идти пешком.

Он прислонил ладонь к животу, словно боясь, что от боли тот отделится от тела и упадёт на мостовую, и пошёл к площади Никитских Ворот.

«Завтра можно будет зайти к Льву Семёновичу, он живёт в двух шагах от Люды, – отвлекал себя от боли Лапшин. – У Норштейнов такое милое и гостеприимное семейство».

Боль караулила каждый его шаг и колола с настойчивостью и ритмичностью старшины, заботящегося о том, чтобы никто не сбивался с ноги. Вряд ли жив тот старшина, что их, молодых ополченцев, учил уму-разуму летом 1941 года. Шура помнил его огромные усы, почти карикатурные, помнил его голос, весьма бравурный, помнил, как он, сгорбившись, присев на бревно, курил. А вот как звали его, забыл.

Переходя Никитский бульвар, Шура едва не потерял равновесие и чуть не шлёпнулся прямо на трамвайные рельсы. Хорошо, удержался и успел на другую сторону. Трамвай громыхал не так уж и далеко. «Не хватало ещё под колёса угодить», – подумал он, оглядываясь на два покачивающихся вагона, несущихся мимо него к Пушкинской площади. Двинулся дальше, но невыносимая резь в желудке остановила его. И он застыл рядом с заиндевевшими деревьями, такой же одинокий и беспомощный, но значительно менее стойкий. Необъяснимый город не выказывал никакого сочувствия.

Ему двадцать семь лет, а он почти инвалид. Проклятая язва! Хотя если бы не она, подстрелил бы его какой-нибудь фриц. А так комиссовали после недели военной службы. Повезло, можно сказать!

Скорей бы уже укол!

Неужели ему до конца дней придётся сидеть на морфии? Сколько ещё Людочка сможет его добывать для него? Лёгкие словно забила какая-то клейкая масса, которая мешала вдыхать и без того густой и холодной воздух московского февраля.

Надо идти. Расстояние совсем пустынное, но как же тяжело его преодолеть.

На углу улицы Воровского и Борисоглебского переулка маячили два подозрительных субъекта в расстёгнутых тулупах. Один из них развязной походкой подошёл к Лапшину, спросил закурить, но, увидев искажённое лицо молодого композитора, убрался. Шура расслышал, как он объяснял дружку:

– Какой-то больной, похоже! Вдруг заразный? Сейчас заразы полно.

На лестнице в подъезде дома, где в многонаселённой коммуналке проживала его бывшая одноклассница Людочка Гудкова, Шура вконец обессилел. Боль вцепилась в него, как кот в воробья, и волокла куда-то еле живого.

Около звонка теснились таблички, сообщающие, сколько раз кому из соседей звонить. Гудковой – два раза.

После школы Шуринька уехал поступать в Московскую консерваторию, и они долгое время с Людой не виделись, отправляя друг другу письма, сперва каждую неделю, а потом всё реже. Во время войны, когда в городе было полно эвакуированных, он неожиданно вернулся, но с Людой ему удавалось встречаться не часто. Она днями и ночами дежурила в городской больнице, а Шура ухаживал за больными сестрой и отцом. Отец его умер в 1943 году. На Шуриньке на похоронах лица не было, он так корчился, что Люда испугалась, что он сам сейчас умрёт.

Вскоре Шура снова перебрался в столицу. Переписка не возобновилась.

И Шуре неоткуда было узнать, что Люда летом 1944 года попросилась на фронт и до самой Победы прослужила медсестрой в медсанбате одной из частей Первого Белорусского.

Когда в 1946-м её перевели на работу в Москву, первым делом пришло в голову, здесь ли Саша? Вдруг он снова близко? Однако она не стремилась во что бы то ни стало найти его. Вероятно, надеялась, что он сам объявится. Или судьба как-то приведёт её к нему.

Однажды она отправилась в магазин «Консервы» в надежде отоварить карточки. Друг детства стоял на углу Медвежьего переулка и улицы Герцена, курил, улыбался и поглядывал на небо, словно ждал там каких-то немедленных изменений.

Люда увела его тогда к себе на Борисоглебский, напоила чаем, он рассказал ей всё о себе, она ответила тем же. Услышав про тяжкую болезнь Лапшина и про то, что ему прописано только лечение морфием, она не испытала колебаний: её долг – помочь другу. С тех пор так повелось: когда ему становилось совсем невмоготу, он приходил к ней. И она делала ему укол морфия, который крапа из больничных запасов. Почему-то её сперва совершенно не страшило, что кража вскрыется и её накажут. Ведь она уносит из больницы ампулы с морфием для благого дела. За что её карать? Но эта уверенность постепенно таяла. Морфий для Лапшина служил лишь временным облегчением, а нехватка препарата в клинике всё увеличивалась.

Люда, впусив Лапшина, привычно заторопилась. Помогла ему раздеться, уложила на кушетку и помчалась на кухню, чтобы вскипятить шприцы. Шура расслышал, как Люда и соседка обсуждали недавнюю отмену продовольственных карточек.

Боль замутила сознание. Всё вокруг теряло чёткость.

Услышав шаги Людочки, он приободрился. Счастье близко. Бывшая одноклассница поставила укол в вену – так эффект быстрее, чем внутримышечно.

Гудкова присела на край кушетки. Заглянула в его глаза, постепенно проясняющиеся.

– Саша! Надо что-то предпринимать. Ещё чуть-чуть, и ты станешь морфинистом, – сказала Люда с деловитой тревогой хорошей ученицы, которая всегда говорит то, что от неё ждут.

– Ну что ты меня терзаешь? – простонал Лапшин. – Я только вчера был в поликлинике. Врач подтвердил, что не уверен в успехе операции. Я не дам себя зарезать. Лучше уж так!

– Ты меня, конечно, извини. Но тебе всего двадцать семь лет. Неужели твой врач не понимает, что морфий убьёт тебя раньше язвы? – Она сейчас наставляла Лапшина не как друга, а как пациента. – Я, поверь, знаю, о чём говорю. Похоже, этот твой врач не в курсе, какова твоя реальная доза. Так?

Шуринька отвернулся к стенке и затих.

Некоторое время слышно было только, как на общей кухне чьи-то руки переставляли посуду, включали и выключали кран.

– Чайник горячий. Чай будешь? – Люда не могла вразумлять его слишком долго. Жалость и желание опекать брали верх над негодованием оттого, что он игнорирует её предостережения.

– Буду.

Морфий действовал.

Лапшин любил пить чай вприкуску. Сначала класть в рот беленький, сладко тающий кусочек, а потом уже запивать его. Не потому, что жалел сахар. Просто ему нравилось, как меняется вкус от приторного к несладкому. Своеобразное вкусовое уменьшение звука – диминуэндо.

Всякий вечер, когда Шуринька оставался у Люды, между ними создавалось нечто исключительное, какая-то тёплая искренность, из которой можно было при обоюдном желании вытянуть близость большую, чем дружба. Но этого не случалось. Как не случалось между ними никогда прежде. Сколько же можно? У Людочки от этого копилась досада и вот-вот грозила выплеснуть через край откровенным разговором.

«Может, сегодня что-то произойдёт?» – спрашивала сама себя девушка, вглядываясь в черты лица Шуриньки, лёгкие, как будто существующие не всерьёз, но при этом неизменно страдальческие.

Два раза позвонили во входную дверь. Люда нахмурилась. Слишком уж по-хозяйски кто-то жал на кнопку. Стремительной тенью пронеслось: кража морфия вскрылась. Это за ней.

Приходящий постепенно в себя Шуринька с неуместным задором бросил:

– Открой. Это, похоже, к тебе...

Вскоре в комнату, распространяя молодые морозные запахи, ворвались четыре девушки, сразу создав тесноту и суету. Лапшин привстал и, неуклюже кивая, поздоровался.

«Кто это такие? Наверное, поражены, что в комнате у Люды на диване обнаружился незнакомый им мужчина».

Самую высокую звали Вера. В ответ на приветствие Лапшина она лукаво прищурилась, словно признала в нём старого знакомого, который почему-то это знакомство отрицает. Её русые волосы были зачёсаны на прямой пробор, мягкие черты лица завораживали, чуть припухлые щёки просились, чтобы их потрогали, подбородок выдавался вперёд, но не столь сильно, чтобы нарушить пропорции лица.

Под стать ей выглядела та, что представилась Генриеттой, хоть и была чуть ниже ростом. Маленький, чуть вздёрнутый носик не портил её эффектную внешность: большие, чуть удлинённые голубые глаза, светлые, слегка вьющиеся лёгкие волосы, нежный, чуть узковатый рот, ровный румянец на белейшей коже. Всей своей повадкой она предлагала мужчинам оценить её. И конечно же, влюбиться. На лапшинское «Здравствуйте!» она делано поклонилась.

Вид третьей девушки трогал: сублинная, в очках, меньше всех ростом, да ещё сутулящаяся, но лицо волевое, ясное, спокойное. Тёмные волосы заплетены в два забавных хвостика. Она сказала Лапшину: «Приветствую вас», сразу обозначая некоторую дистанцию.

«Стесняется?» – предположил Шуринька.

Четвёртую Лапшин узнал: это была Света Норштейн. Дочка Льва Семёновича, его старшего товарища, композитора. Она, кажется, только в этом году окончила школу и поступила в педагогический институт. Но выглядела взрослее своих лет. В лице жила библейская строгость и правильность черт, в глазах – спокойная умудрённость, чувство постоянной правоты и жажда эту правоту доказывать, но только тем, кто этого достоин. Лапшину она кивнула, улыбаясь, как старому знакомому, но спрашивать, как он здесь, в этой комнате, возник, не решилась.

Вера, расцеловав Людмилу, защебетала:

– Ты прости, мы были тут неподалёку и вот решили к тебе зайти, наудачу. Вдруг ты не на дежурстве?

Лапшин не мог себе представить, что у Люды в Москве есть подруги, да ещё и целых четыре.

## 1953

С Олегом Храповицким, будущим отцом Арсения и Дмитрия, Света Норштейн познакомилась в день, когда хоронили Сталина.

Москва уже четыре дня была охвачена скорбью. Но Света всерьёз горевать не собиралась. Не близкий же родственник скончался? Папа, как она сразу поняла, хоть и не показывал виду, переживал не из-за ухода в мир иной вождя народов, а из-за смерти Сергея Прокофьева, своего старшего музыкального собрата, чья прихотливая судьба поставила точку в его великой жизни в один день со Сталиным. О кончине Сергея Сергеевича ему сообщил зашедший к Норштейнам на чай композитор Николай Пейко. Лев Семёнович помрачнел. Долго тёр глаза. Потом они что-то обсуждали вполголоса. Звучала фамилия Вайнберг. Света слышала от родителей, что известный советский музыкант Моисей Самуилович Вайнберг арестован чуть меньше месяца назад и его друзья, среди которых Шостакович, Пейко, Норштейн и многие другие, делают всё для его освобождения. В тот же вечер у Норштейнов гостил композитор Лапшин. Очень приятный и очень несчастный молодой человек, пять лет назад изгнанный из консерватории как безродный космополит. В последнее время Света реже его видела. Только когда он заходил к отцу. А раньше, несколько лет назад, они часто оказывались в одной весёлой компании, собиравшейся у Людочки Гудковой, жившей в доме напротив. Правда, сама Гудкова нравилась ей меньше остальных, а иногда и вовсе раздражала. Но она терпела её ради того, чтобы оставаться частью этих сборищ, где как будто не действовали законы внешнего мира.

Отец и Лапшин в тот мартовский вечер выпили по рюмке в память Прокофьева, говорили при этом тихо, почти шёпотом, потом, словно по команде, очень громко помянули Сталина.

Занятия в средней женской школе, где Светлана первый год после института преподавала английский, в тот день, как и в предыдущие четыре, отменили. Вчера и позавчера она, с чёрной повязкой на рукаве, участвовала в траурных школьных митингах. Её поразило, что один из учителей, фронтовик, пришедший зачем-то в парадном кителе, со всего маху грохнулся в обморок, когда стоял в скорбном карауле около портрета генералиссимуса. Тот из-под усов добродушно и беззаботно улыбался. Как живой!

Сегодня отец и мать уговаривали её никуда не выходить из дому. Но она всё же вытребовала у них право немного прогуляться. Отец в итоге махнул рукой и буркнул:

– Иди! Только в толпу не лезь. Не проявляй самостоятельности, где не надо. Без тебя разберутся.

– Я и не собиралась, – обрадовалась Света. – Зачем мне в толпу?

Сероватый, однотонно-унылый, ничем не примечательный, до раздражения заурядный денёк начала марта ещё не обнаруживал признаков весны, кое-где по-прежнему лежал снег, да и градусники показывали минусовую температуру, но в воздухе уже поселилось что-то лёгкое, необъяснимое, что скоро переломит погоду и заставит природу окончательно очнуться, зашепестеть флейтами тёплых ветров, погрузиться в негромкую настойчивость птичьих распевов и терпковатых, всякий раз новых ароматов.

Норштейны в те годы проживали в коммуналке в Борисоглебском переулке, в унылом на вид доме из подкрашенного кирпича, притаившемся чуть в глубине от проезжей части. Льву Семёновичу приходилось не сладко, хоть он никогда не жаловался. Заниматься на инструменте в перенаселённой, шумной квартире, где бытие каждого протекает на виду у остальных, а безобразные ссоры чередуются с безудержным и чаще всего переходящим в новые безобразия весельем, дело безнадёжное и небезопасное. Если только соседям казалось, что Семёныч играет слишком громко, они начинали яростно колотить в стену. А казалось это им почти всегда.

Когда в 1946 году на улице Воровского завершили строительство здания музыкального института, Лев Семёнович с разрешения Елены Фабиановны Гнесиной, руководившей новым вузом, по вечерам занимался в свободных классах. Это спасало. Здесь никто не начнёт барабанить в дверь или в стену и орать: «Семёныч, прекрати!»

В начале пятидесятых морок войны начал рассеиваться. Тьма смерти постепенно отступала перед ровным светом житейских забот.

Лучше пошли дела и у Льва Семёновича. Его исполняли всё больше, о нём писали музыкаеведы, руководство Союза композиторов демонстрировало благосклонность. После премьеры в Большом зале консерватории его Пятой симфонии публика почти десять минут хлопала стоя, вызывая на сцену автора.

У семьи наметился некоторый недостаток. Вот только проблема с жильём не решалась. Норштейны так и ютились в коммуналке на Борисоглебском, втроем в одной комнате. Льву Семёновичу давно уже пора было переехать. Но как-то не складывалось.

Елена Фабиановна Гнесина несколько раз уговаривала его преподавать в институте композицию. Домашние умоляли согласиться. Ведь работа под крылом Гнесиной, к которой, как известно, хорошо относились в Политбюро, – это верный путь в новую отдельную квартиру. Пока там, в Союзе композиторов, расщедрятся – жизнь пройдёт! А к Гнесиной, говорят, сам Сталин прислушивался. Но Лев Семёнович отказывался, мотивируя это тем, что не чувствует в себе педагогических талантов и только из-за жилья не будет уродоваться сам и уродовать других, занимаясь тем, к чему душа не лежит.

Между тем на улице Огарёва вроде бы планировалось построить кооперативный композиторский дом. Как будто и Норштейнам светило оказаться среди участников кооператива.

Лев Семёнович не очень в это верил. В последний момент всегда что-то может поменяться. Да и строительство продолжится несколько лет. Жизнь в Советской России научила его не загадывать слишком далеко. Его жена тем не менее копила деньги на сберкнижке. По её расчётам, к тому моменту, когда начнут распределять квартиры, сумма приблизится к нужной.

Света, несмотря на неудобства и тесноту, любила бывать дома. Но в то утро 9 марта 1953 года Свете стало в их, по меткому определению её матери Марии Владимировны, «вороньей слободке» невмоготу. Из каждой комнаты из радиоприёмников звучала трансляция с траурной церемонии, и периодически кто-то всхлипывал или скулил.

Два года назад из их коммуналки увели мужа соседки, военного прокурора Сергея Сергеевича Хорошко, близорукого, низкорослого человека с уютной, какой-то рафинадной фамилией. Свете нравилась эта семья, а к Насте Хорошко, черноглазой и смешливой дочке прокурора, она относилась как к младшей сестрёнке. Мать Насти служила в цирке на Цветном бульваре администратором и иногда просила старшеклассницу Свету Норштейн забрать из детского садика Настю и привести её к маме на работу, чтобы малышка не оставалась без присмотра. Однажды Настя накормила свою «большую» подругу вкуснейшими сочными грушами. Дело было так. В цирке работал униформист Макуев, очень симпатизировавший Елене Петровне Хорошко. Напротив знаменитого здания на Цветном бульваре находился рынок, где за немалые деньги продавали фрукты, овощи, мясо, колбасы. Купить всё это мало кто из москвичей мог себе позволить – большинство горожан довольствовались витающими вокруг прилавков запахами. И вот Макуев, чтобы побаловать дочку Елены Петровны, изобрёл следующее нехитрое приспособление – доску с вбитым в неё гвоздём. Вооружённый такой доской, он подкрадывался к лоткам с задней стороны, просовывал её через отверстие в заборе, и, пока торговец рекламировал проходим свой товар, у него за спиной этот самый товар уменьшался в количестве. Макуев накалывал груши на гвоздь, вытаскивал их и дарил сияющей от восторга Насте. Один раз в таком налёте на рынок участвовала и Света Норштейн. Ей было немного

стыдно, но уж больно вкусными оказались груши. Девочки договорились держать всё это в строжайшей тайне.

После ареста Сергея Сергеевича два дня в комнате Хорошко орудовали люди в форменных кителях, фуражках с синим верхом и в брюках с такими же синими лампасами. Они молча и методично перерывали всё вверх дном, лезли во все углы, даже подняли дощатый пол. Потом, спустя неделю, по «вороньей слободке» пошёл слух, что Хорошко разоблачён как английский шпион. Лев Семёнович после этого происшествия несколько дней, молча и не закусывая, хлестал водку, которую покупал в магазине на углу Борисоглебского и Молчановки, и не разговаривал ни с женой, ни с дочерью. Засыпал, просыпался и снова плёлся в продуктовый. Мария Владимировна тогда сказала Свете:

– Не трогай отца. Он справится.

Супругу Сергея Сергеевича сразу же после ареста мужа уволили с работы, поскольку Госцирк относился к режимным советским учреждениям, – представления нередко посещали Будённый и сын вождя Василий Сталин.

Полгода Елену Петровну не принимали ни на какую работу, пока Лев Семёнович не попросил директора Московского музфонда Крюкова пристроить её на самую низшую должность в отделе кадров. Видимо, к Музфонду органы относились не так серьёзно, как к цирку. Пока Елена Петровна мыкалась, Норштейны давали несчастной деньги, всячески помогали, чего не скажешь о других соседях, косящихся в сторону «шпионских родственников» с явным неодобрением.

Из комнаты Елены Петровны плач по Сталину доносился громче всего.

В тот год, когда увели Хорошко, пропала и Вера Прозорова, участница их посиделок у Гудковой, всеобщая любимица, гордячка, красавица. Тогда Света невольно подслушала, как зашедший к Норштейну Лапшин жаловался отцу, что его сестру и мать вызвали в МГБ по делу Прозоровой и что они после этого визита совершенно убиты. Света тогда дико испугалась. Ведь ничего не мешало органам и её допросить как знакомую Прозоровой! Если до родственников Шуриньки добрались, то её уж точно не оставят в покое. И что тогда? Возьмут как соучастницу? Может, встретиться с Лапшиными и выяснить, открыли ли им, в чём обвиняют Веру? Наверное, все, приходившие к Гудковой, под подозрением. Зачем они тогда так легкомысленно себя вели?

Но шли дни, месяцы, ничего катастрофического не происходило, и страх отпустил. О Прозоровой она больше ничего не слышала, и её никто о ней не спрашивал.

Светлана спустилась по пахнущей мокрыми тряпками лестнице и очутилась во дворе, где прижимались один к другому разной высоты сарайчики, в которых жители дома хранили скарб, а летом порой и спали, спасаясь от духоты. Несколько шагов – и она на пустынном Борисоглебском. Немного поразмышляв над тем, куда податься, она двинулась влево, туда, где переулок упирался в идущую перпендикулярно улице имени Воровского. Вскоре показалось безуспешно пытающееся спрятаться за голыми липами четырёхэтажное, построенное с явным намёком на архитектурную старину, с белыми выступающими полуколоннами, жёлтое здание музыкального института. Из его широких окон в тот день непривычно не вылетало никаких звуков. Детище Гнесиных притихло, как и вся ошарашенная известием о смерти Сталина страна.

Свету тяготило то, как она одета. До СССР по понятным причинам не докатился модный переворот, совершённый Кристианом Диором в 1948 году, и советские женщины в большинстве своём до середины пятидесятых носили весьма скромные и очень похожие друг на друга наряды. Строгая юбка и плечистый пиджак серого цвета совсем не шли Свете, а тяжеловатое длинное пальто и подавно. Туфли тоже выглядели не ахти как. Однако остальные имеющиеся у неё в гардеробе вещи раздражали ещё больше.

В Борисоглебский переулоч Норштейны переехали в 1936 году, когда Светлане исполнилось шесть лет. До этого они жили в Замоскворечье, у бабушки по материнской линии, Елизаветы Алексеевны, урождённой Минаевой. Дом стоял во Втором Голутвинском переулоч, напротив закрытого советской властью, белого, как торт безе, храма Николая Чудотворца. Кроме Норштейнов и бабушки, на этой жилплощади проживала ещё и мамина сестра Нина Владимировна, врач-психиатр, обладавшая характером, мягко говоря, деспотичным. Всё это отравляло совместное существование, и первые впечатления девочки от мира омрачались постоянными ссорами, криками и руганью. Интеллигенты иногда, как известно, ругаются яростней тех, кто к интеллигенции себя не причисляет. Переезд в комнату на Борисоглебском, полученную Марией Владимировной от Наркомпроса, где она работала в отделе театров, воспринимался семьёй как счастливое спасение. Хотя и тесновато, но всё же лучше, чем было.

Переулоч с его породистыми историческими зданиями сразу полюбился Светлане. У каждого дома – свой характер. Осенью везде по-разному пахнет, где-то запах совсем слабый, а где-то очень ощутимый, как от арбуза. Как же они любили вместе с ребятами из их двора бегать в дом на соседней улице Воровского и кататься там на лифте, пока лифтёрша не выставит их!

Лифт тогда был экзотикой.

Здесь она выросла, грустила и ликовала, обижалась и прощала, училась понимать мир и принимать его таким, какой он есть. Научилась ли?

Света Норштейн первый раз влюбилась ещё до войны, когда ей было десять лет. Детское сердце остановило свой выбор на пятнадцатилетнем соседе по дому, сыне уборщицы из столовой Верховного суда Алёшке Красавине. Он порадовал детско-девичье воображение не только высоким ростом и плечистой, не по годам рано сформировавшейся мужской фигурой, но и поразительным умением отбивать мячи из ворот во время дворовых футбольных баталий, которыми после выхода в 1936 году фильма «Вратарь» на долгие годы заболела вся Москва. Однажды Света, наблюдавшая за забавами старших, исхитрилась ухватить мяч и убежать с ним в самый дальний угол двора. Она мечтала, чтобы Лёша подошёл к ней и сам попросил вернуть, но к «композиторской дочке» подскочил совсем другой парень, противнящий Борька из другого дома, и нагло выхватил у неё кожаную добычу. Света сочла это чуть ли не изменой со стороны Лёшки и жутко оскорбилась.

И Борьку, и Лёшку, как и многих других их ровесников, война не вернула обратно, в арбатские дворы. Оба пропали без вести.

В 1941 году ей исполнилось одиннадцать. 22 июня вокруг неё всё изменилось. Взрослые в суровом единении все, как один, ходили на солдат огромной армии, состоявшей из военных и штатских, мужчин и женщин, юношей и девушек. В июле Москву начали бомбить. Вся суть жизни тогда свелась к звуку сирены, извещающей о том, что пора бежать в бомбоубежище.

В августе на улице Герцена, возле Никитских Ворот, зиял огромный разлом, страшивший своей безысходной, как и сама война, глубиной.

Уезжая из Москвы в эвакуацию в Томск, Норштейны верили, что скоро вернуться. Не может Красная армия не победить фашистов! Так оно и случилось, только несколько позже, чем ожидалось.

В Томске, где папа переболел тифом и чуть не скончался, Свете жилось конечно же несладко. Но её укрепляло то, как стойчески переносят все тяготы родители. Хотя она чуть не плакала, видя, как стареют и морщатся красивые руки матери, как всё сильнее горбится совсем молодой ещё отец. За что это нам? Почему они здесь? Света всё больше брала на себя взрослых забот, хотя мать с отцом запрещали ей это, полагая, что подобное усердие отвлечёт её от уроков. Ведь война когда-нибудь кончится и необразованные люди никому не будут нужны! Света ходила в школу вместе с детьми таких же эвакуированных, в основном рабочих с обо-

ронных предприятий. После уроков они иногда сажали морковь и картошку прямо на городских клумбах, чтобы хоть как-то помочь городу пережить сложности с продовольствием.

Морозные и ветреные сибирские зимы выстуживали всё тепло в топившихся кое-как домах. Света остро, до боли в затылке, тосковала по дому, по московским улицам, которые вспоминались почему-то всё время весенними и наполненными людьми, жующими мороженое. Она вместе со всеми ждала, когда победоносная Красная армия отгонит врага от границ Родины. И дождалась.

В ту пору Света попробовала влюбиться в рыжего и веснушчатого мальчишку из местных, но он в ответ на её призывы дружить только глупо пялился и ржал.

Когда вернулись из эвакуации, переулочек выглядел израненным. Разбитые окна. Разруха. Во дворе их дома образовалась огромная мусорная свалка, жутко смердевшая. Света помнила, как сразу после войны соседние дворы наполнились разнообразной сомнительной публикой, без конца с яростным стуком «забывавшей козла» и громко матерящейся; как однажды поздней осенью ночью ограбили квартиру инженера Корбутовского и потом по всем окрестным домам ходили милиционеры и расспрашивали, не видел ли или не слышал ли кто-нибудь чего-нибудь подозрительного; как на углу переулка и Собачьей площадки у мамы вытащили кошелек и она заявила в милицию, а потом их приглашали в отделение на опознание, где посадили перед ними четырёх отвратительных громил и спрашивали, не узнают ли они кого-нибудь. Они никого не опознали. Мать боялась расправы дружков преступника, от которых милиция вряд ли её защитит.

И много чего ещё она помнила...

После войны Света продолжила учиться в той же 93-й женской школе, куда ходила до эвакуации. В год окончания у неё появилась настоящая взрослая подруга. Звали её Генриетта Платова. Генриетта была личностью легендарной, поскольку в выпускном десятом классе сидела уже третий год. Она проживала вместе с матерью Зоей Сергеевной, сотрудницей Минздрава, в том же Борисоглебском переулке, через пару домов от «вороньей слободки». Света и Генриетта так подружились, что почти не расставались.

Генриетта собиралась стать актрисой. Но для этого надо было всё-таки окончить школу. С этим возникали проблемы.

Зимой и весной 1947 года всё менялось для Светы стремительно. Взрослость накатывала волнами, куда-то безотчётно вовлекая, завораживая, маня в неизведанное. Генриетта охотно делилась с подругой жизненным опытом, уже довольно обширным, а Света помогала Платовой справиться с первобытным ужасом, который та испытывала от заданий по алгебре, физике и химии, равно как и по многим другим дисциплинам.

Генриетта, как бы ни складывались обстоятельства, не падала духом. Она легко сходилась с людьми, и вскоре те не могли представить своей жизни без её болтовни, горлового смеха, дыма её папиросок.

Она затащила Свету в компанию, состоявшую из молодёжи, обучавшейся в Щепкинском театральном училище. Все они были на три, а то и на пять лет старше Светланы и казались ей безумно талантливыми и интересными. В то время Света пережила свой первый бурный роман, кончившийся опасливой, запретной, но от этого не менее сладостной физической близостью, и тогда же испытала первый страх из-за сбоя в цикле. Первый мужчина Виктор Суворов бросил её через неделю после того, как они провели несколько томительных часов в постели. Потом Генриетта, познавшая мужчин значительно раньше Светланы, целый час обучала плачущую подругу тому, как надо к ним относиться, убеждая её, что переживать из-за «этих кобелей» – последнее дело. Света согласно кивала, но всё равно рыдала истово, пока не выплакала всю свою влюблённость. Через месяц Суворова вышибли из Щепки за чудовищную пьянку, учинённую в общежитии. Больше Света никогда его не видела.

Лев Семёнович и Мария Владимировна привязались к Генриетте. Благодаря шефству Светы Генриетта всё же подтянула успеваемость до уровня, когда о двойках речь уже не шла. Всё шло к тому, что она наконец окончит школу. Мечта Генриетты о театральном училище зудела в ней всё сильнее, и она делилась ей со всеми, с кем могла, ожидая, что кто-то ей поможет её осуществить. Так в итоге и получилось. Выслушав в очередной раз плач Генриетты по актёрской судьбе, Лев Семёнович настолько проникся, что отправился к Елене Фабиановне Гнесиной и поинтересовался, нет ли у той каких-нибудь хороших знакомых в театральной среде, поскольку надо показать одну очень талантливую девочку. Гнесина тут же позвонила Николаю Анненкову, набравшему в том году курс в Щепкинском училище. Строгому мэтру Платова неожиданно приглянулась. На экзаменах всё прошло гладко, и Генриетта была принята. Её мать Зоя Сергеевна не знала, как благодарить Норштейнов. Однако чувство признательности в человеке редко задерживается надолго, и, когда через некоторое время Лев Семёнович обратился к Платовой, к тому времени уже получившей должность заведующей приёмной министра здравоохранения СССР, с просьбой помочь обследовать страдавшую сердечным ревматизмом супругу, мать новоявленной актрисы ответила, что у неё нет знакомых среди врачей-кардиологов.

Светлана, как и планировалось в семье, поступила на факультет иностранных языков Московского педагогического института имени Ленина. Света, конечно, подумывала подать документы в МГИМО, вуз крайне престижный, открывающий путь к дипломатической работе, но отец с матерью отговорили её под предлогом того, что туда без связей поступить фактически невозможно. На самом же деле Норштейны опасались, что помешать поступить Светочке может её фамилия. Борьба с космополитизмом уже начиналась.

На первом курсе института, под томительную тоску ранних листопадов, в Свету влюбился однокурсник Саша Голощёков, застенчивый и красивый мальчик из профессорской семьи. Они встретились пару раз в его просторной квартире, когда его родителей не было дома. В постели всё случилось коряво. Как в первый раз, так и во второй. Саша сам сказал ей, извиняясь и оправдываясь, что, наверное, им не стоит больше встречаться.

Света немного расстроилась.

Тогда Генриетта снова взялась за неё, уговаривая, что надо отвлечься и перестать общаться только с унылыми однокурсниками, будущими учителями-мучителями в очках и с указками. Опять начались походы по разным «интересным квартирам». В этих квартирах много курили, часто влюблялись и до одури спорили красивые, не вполне советские люди. А потом у этих людей начинались неприятности.

Тогда же она привела Свету в дом к Гудковой, с которой до того познакомилась в очереди в их знаменитый угловой продовольственный магазин. Люда хоть и не походила на привычных приятелей и приятельниц Платовой, но жила напротив. А чем больше в околотке приятных людей, к которым можно запросто зайти, тем веселее в этом околотке живётся, любила приготавливать Генриетта. Видно, она услышала это от кого-то, ей понравилось, и она запомнила.

Случалось, за Светой кто-то и ухаживал, но как-то блёкло и необязательно.

После того как она окончила институт и начала преподавать в школе, за ней стали волочиться мужчины постарше. Никто из них не вызвал даже намёка на симпатию.

Как-то поделилась этим с Генриеттой, на что та ответила со смешком:

– Когда много хочешь, можно остаться ни с чем. – И потом через паузу: – Это не про тебя. Не злись.

Дойдя до улицы Воровского, Света повернула налево. Оголённые и нервные ветки лип чуть нависали над проезжей частью. На другой стороне, около входа в Институт Гнесиных, приземистый и будто пучеглазый из-за огромных фар автобус, урча, затормозил на остановке, и из него вышел рослый молодой человек в лёгком клетчатом плаще. Что-то в не совсем про-

порциональной фигуре неизвестного привлекло девушку. И дело было не в том, что в клетчатых плащах в Москве в те годы мало кто ходил, и не в том, что при ходьбе он немного выкидывал вперёд свои длинные ноги, – просто в каждом его движении жило что-то до такой степени безобидное, что на душе светлело.

Олег Храповицкий вскоре заметил, что девушка на противоположном тротуаре вот-вот свернёт шею, наблюдая за ним. Поначалу он забеспокоился, как позднее сам, посмеиваясь, рассказывал Свете, что с его внешним видом что-то не так. А потом неумолимая её притягательность заставила его перейти улицу и окликнуть её.

– Девушка? Что случилось? Вы меня знаете? – спросил Олег, подойдя к Светлане и пристально, но не без опаски всматриваясь в неё.

– Нет. – Света встретила его взгляд, но тут же отвела глаза.

– Но вы меня разглядываете, словно мы знакомы? – недоумевал Олег Храповицкий.

– Просто больше никого нет на улице.

– А-а-а! – Олег успокоился. – А вы куда идёте?

– А почему я должна вам докладывать?

Через полчаса они уже болтали как старые знакомые, и Олег совсем забыл, что собирался сегодня весь день просидеть в архиве ИМЛИ. Потом он не раз поражался, что эта встреча спасла его от неприятностей. Понятно, что в ИМЛИ в тот день Храповицкий никак бы не попал – в день похорон Сталина институт был закрыт, – но его наивные попытки заменить скорбь по вождю работой над диссертацией могли бы вызвать гнев сурового академического начальства, а возможно, и не только его.

В молодости это не редкость: люди, случайно встретившиеся, выкладывают друг другу столько всего о себе, что и самые близкие позавидовали бы. Их не испугал холод, усиливающийся в тот день с каждым часом; Бог, в которого советские люди стыдились верить, сохранил их от того, чтобы направить стопы туда, где прощавшиеся с вождём погибали в страшной нечеловеческой давке. Олег рассказал, что он аспирант ИМЛИ, изучает поздний период творчества Пушкина, что «Медный всадник» – самая гениальная поэма в мире, что сам он из Ленинграда, а здесь снимает угол на Покровке, что хозяйка квартиры чрезвычайно колоритная старушенция и что она, похоже, из «бывших», хоть и скрывает. Светлана также много чего ему наплела о себе, но не столь искренно и хаотично, как Олег, а с некоторыми преувеличениями, свойственными дамам в разговорах с мужчинами. О похоронах Сталина они словно забыли. Хотя, когда расставались на Арбатской площади (Света попросила не провожать её), Олег вдруг испугался: стоило так легкомысленно проводить такой день?

Поцеловать Свету на прощание он не решился.

## 1985

После того как Норштейн выпустил из объятий своего старшего внука Арсения, тот поднял глаза на мать и тихо, но очень отчётливо произнёс:

– Мама, папе очень плохо. Я решил, что ты должна знать. Прости... – Румянец его разгорался всё сильнее, до болезненной красноты.

Светлана Львовна не изменилась в лице ни капли.

Некоторое время все молчали.

У Льва Семёновича начали мёрзнуть ноги. Показалось, что слюна во рту загустела и её невозможно проглотить. Он подавился, закашлялся. Да так сильно, что дочери пришлось побить его по спине. Арсений наблюдал за этим встревоженно.

Но тут скрипнула дверь, и в коридоре появился взлохмаченный после сна Димка, в цветастой пижаме и мягких домашних тапках.

– Ух ты! – вскрикнул Димка. Он часто представлял, как брат теперь выглядит.

– Здорово, брательник. – Арсений поспешно улыбнулся и почему-то приподнялся на носках.

Дед перестал кашлять.

– Привет! – Димка нерешительно подошёл к ещё источающему уличный холод брату.

Они не обнялись, а просто негромко стукнулись лбами. Так они любили делать, когда Дима был ещё маленьким и Арсений неустанно опекал и наставлял его.

– Ну, как ты? – Арсений оглядывал Дмитрия.

– Всё нормально вроде.

– Я соскучился. – Арсений беспомощно моргнул.

Конечно, встретить он Димку случайно на улице, он бы его не узнал.

Но для этих четверых сейчас не существовало никаких законов и правил. Жизнь неожиданно выставила их на свой ледяной сквозняк и ждала, как они с ним справятся...

Кто-то должен был спросить, что же случилось с Олегом Храповицким такое, что вынудило Арсения прийти сюда.

Если бы участники этой сцены могли бы посмотреть на себя со стороны, то посмеялись бы над тем, как они напоминают героев пьесы, которым автор никак не сочинит реплики. Но сейчас каждый из них действительно не находил слов. И уж никому из них точно не над чем было смеяться.

Мать после долгой разлуки разглядывала сына и поражалась, как он за эти годы стал похож на отца. А тот, потупившись, мялся, как в детстве, когда боялся, что мать догадается о чём-то, что он от неё утаил.

«Милый Арсений! Зачем ты выбрал отца, а не мать? Неужели тебе показалось, что он любил тебя больше?»

Светлана Львовна целиком погрузилась в молчаливое изучение сына, будто он не живой человек, а произведение искусства.

Сейчас Арсению, отметила она про себя, столько же лет, сколько было его отцу, когда они познакомились. Вдруг из памяти всплыл эпизод из того первого дня – дня, который она вроде бы давно уже вычеркнула из всех воспоминаний и который, как оказалось, выжил и никуда не делся. Тогда, тридцать два года назад, в один момент воздух вдруг прорезал гудок всех заводов, автомобилей, автобусов и всего того, что могло гудеть в память об Иосифе Джугашвили. Так самозабвенно город прощался со своим вождём, тираном, мучителем, отцом,

который теперь собирался лежать рядом с другим вождём, чьим именем он всегда прикрывался и назвал немислимое количество улиц, заводов, дворцов культуры и много чего ещё. Света тогда так испугалась, что инстинктивно прижалась к Олегу. Она была значительно ниже его ростом, и лицо её уткнулось в его грудь, вернее, в шерстяной, душно пахнувший красный свитер, совсем не гармонирующий с его расстёгнутым светлым в крупную клетку плащом.

## 1953 и далее

Понравился ли он ей при первой встрече? Вряд ли. Потом они не виделись целую неделю, и Света из-за этого не горевала. Она размышляла, что если бы Олег захотел её найти, то придумал бы способ. Он же мужчина!

В те годы телефонизация ещё не распространилась по всей стране, а телефонный аппарат продолжал быть редкостью. Самая ходовая монета – «пятнашка», именно её бросали в уличный автомат, чтобы связаться с теми счастливыми, что обладали домашним номером.

В «вороньей слободке» телефона, разумеется, не было.

Жизнь Светланы между тем несла куда-то дни, наполняя их хлопотами, усталостью, еле отчётливыми планами, которым чаще всего не суждено было сбыться и которые исправно отменяли планы предыдущие.

Через неделю Олег деликатно, словно боясь кому-то помешать, постучал в дверь комнаты Норштейнов. Перед собой на чуть вытянутой руке он держал букетик пожухлой мимозы. Храповицкий был одет будто на праздник: белая сорочка сияла из-под нового на вид пиджака, стрелки на брюках смотрелись крупно и солидно, вычищенные до блеска ботинки на толстой подошве делали его ещё выше, а просторное пальто уравнивало его костлявую худобу. Во взгляде аспиранта блуждала настороженная торжественность. Его напыщенность вкупе с почти уродливым букетом рассмешили Светлану. Хохотала она дольше, чем предполагала ситуация, и Олег даже собрался уходить, заподозрив, что смеются над ним.

Однако Света опомнилась, пригласила его войти, напоила чаем с сушками, познакомила с родителями.

Выяснилось, после их прошлой прогулки он крепко простудился и провалялся всё это время с температурой.

Света показно недоумевала, как он добыл её адрес – неужели обращался в Мосгорсправку, – но Олег напомнил ей, что она сама ему рассказала при первой встрече, где живёт, да ещё и обнародовала многие тайные подробности большой коммунальной советской жизни.

Девушка схватилась за голову: и правда. Как забыла?

А на следующий день они снова отправились на прогулку. Зашли в кинотеатр «Художественный», посмотрели популярный в тот год фильм «Максимка». Из кино они возвращались по улице Воровского. Перед тем как повернуть на Борисоглебский, Олег, волнуясь, скороговоркой произнёс:

– Свет, может, у нас что-нибудь получится?

У них получилась действительно хорошая семья. Олег съехал из своей холостяцкой комнаты на Покровке и снял хоть и маленькую, но всё же отдельную квартиру на Плющихе. Там, правда, Свете не понравилось, и они довольно скоро опять поменяли адрес, поселившись на Татарской улице, в Замоскворечье. Общие интересы, масса знакомых, светская жизнь, театры, консерватория с неизменным шампанским в буфете, идеальная, как они себя убеждали, духовная и физическая близость. Из всего этого они строили общий мир. Светлана вскоре после их свадьбы в 1955 году ушла из школы и начала преподавать английский в МГУ. Несколькими месяцами позже Олег защитил наконец кандидатскую. С докторской тянуть не собирался. У руководства ИМЛИ он был на прекрасном счету, ему прочили блестящую карьеру учёного.

В феврале 1956 года мир огласил криком их первенец Арсений. По какой-то необъяснимой логике это произошло в день доклада Хрущёва на XX съезде партии, развенчивавшего культ личности того, чьи похороны запомнились Олегу и Светлане совсем по другому поводу. Роды проходили тяжело, пуповина чуть не задушила младенца, но, слава богу, всё обошлось.

По случаю рождения внука Лев Семёнович дал концерт в Доме композиторов, хотя уже давненько не выступал как пианист. В первом отделении он исполнил Вторую фортепианную сонату Рахманинова и «Гробницу Куперена» Равеля. Во втором – свой фортепианный цикл «В альбом на прощание». Потом в ресторане на первом этаже устроили небольшой, для самых близких друзей, банкет, на котором Моисей Вайнберг, со свойственной ему после трёхмесячного пребывания в Бутырке ироничной грустью, посетовал на то, что Лев Норштейн не ведёт широкой концертной деятельности. Норштейн в ответ отшутился: возможно, Арсений, его только что родившийся внук, исправит этот недочёт.

Приглашал Норштейн на концерт и Лапшина. Но тот не пришёл, сославшись на то, что гриппует и боится кого-нибудь заразить.

Вера Прозорова в это время находилась на пути из Озерлага в Москву.

Мария Владимировна с появлением на свет Арсения обрела вторую молодость и принялась растить внука с таким воспитательным усердием, какое никак нельзя было заподозрить в ней раньше. Хотя в Союзе театральных деятелей, куда она перевелась из Наркомпроса сразу после войны, умоляли её не уходить на пенсию и ещё немного поработать, счастливая бабушка, не раздумывая, ответила отказом.

Олег просил ещё детей, но жена долго не могла забеременеть во второй раз. Врачи только разводили руками, не находя к этому никаких медицинских предпосылок.

Летом 1956 года Норштейны-Храповицкие поселились в доме на Огарёва, построенном с добротным архитектурным шиком и с явным налётом советской элитарности. Рядом выселились такие же помпезные образцы сталинского городского строительства. Всем своим видом они утверждали, что советский человек теперь обрёл условия жизни не хуже, чем те, кто угнетал народ до 1917 года. До хрущёвских малогабариток и брежневских блочных многоподъездов ещё оставалось некоторое время. Лев Норштейн вошёл в композиторский кооператив, когда уже перестал и надеяться на это. Его вызвали в Музфонд и объявили, что его заявление удовлетворено. Накопленных Марией Владимировной средств с лихвой хватило для первого взноса. Правда, злые языки усердно распространяли слух, что, если бы не скончался Исаак Дунаевский, которому эта квартира предназначалась и который весьма энергично радел за строительство дома, периодически даже лично инспектируя стройку, так бы и куковали Норштейны в своей коммуналке.

Мария Владимировна настояла, чтобы дочь, зять и внук переехали к ним. Хватит мыкаться по съёмным углам, посчитала мудрая покровительница советских театров. Места в новой квартире всем хватит.

В 1958 году Олег вступил в партию. Это устраняло последнее препятствие в его карьере. Теперь он мог претендовать на самые высокие должности. Сам Олег Александрович, как-то засидевшись с тестем на кухне, признался ему, что сильно колебался, когда заместитель директора ИМЛИ порекомендовал ему подать заявление в КПСС. Конечно, для продвижения это очень полезно, но как смириться с преступлениями Сталина! Однако потом ему пришла в голову мысль, что сейчас, когда партия сама осудила репрессии и избавилась от тех, кто их организовывал, надо непременно вступать в ряды коммунистов всем порядочным людям, чтобы тем самым делать их чище и человечней. Лев Семёнович улыбнулся такой горячности. Особенно тому, как Олег без всяких сомнений и рефлексий отнёс себя к порядочным людям. Не собирался он разочаровать зятя и по поводу избавления от тех, кто мучил страну. Он уже не раз наблюдал, как те, кто избавлялся, быстро превращались в тех, от кого избавились. И никто ни в чём никогда не каялся. Только искались и находились виноватые.

Примерно раз в год из Ленинграда приезжали погостить родители Олега. Они мнили себя потомками польских дворян и вели себя всю жизнь соответственно этому статусу. Отношения с семьёй сына у них выстроились безмятежные, поскольку для аристократа главное – не показывать своих подлинных чувств.

В январе 1968-го, к всеобщей радости, на свет появился Димка. Арсений, хоть и давно грезил о братике, ликовал тихо. Выражать свои чувства слишком бурно он уже тогда, в детстве, полагал не совсем приличным.

Но спустя три года безмятежные и радостные дни этой идеальной советской семьи истаяли, как пивная пена в середине короткого застолья. Всё изменилось в один день, когда весной 1971 года Марии Владимировне, отправившейся к врачу, чтобы пожаловаться на головные боли, поставили страшный диагноз – рак мозга. Четыре года она держалась за счёт невероятной внутренней силы, но в конце 1974-го её поединок с болезнью прекратился. Лев Семёнович, любивший жену до безумия, как только она окончательно слегла, не отходил от её постели, развлекал её как мог. Когда она впала в беспамятство и не приходила в сознание, он подолгу разговаривал с ней, придумывая за неё несуществующие ответы.

На её похороны Олега и Арсения Светлана Львовна не пустила.

Тогда уже всё рухнуло окончательно.

Лев Семёнович часто задавал себе вопрос: как так получилось, что его Света, его замечательная умная девочка, проявила столько безжалостности к мужу и поддержавшему его старшему сыну? Откуда в её характере эта непримиримость? Когда произошла перемена? В чём её причина? И почему она никогда не выказывала желания всё исправить?

Он предусмотрительно держал в тайне от дочери то, что не прекратил общение с внуком и зятем и что далеко не все его походы к врачу заканчивались действительно в поликлинике. Её реакцией была бы однозначной – неприятие и непощение. Арсений время от времени, особенно в первые годы после их переезда с отцом в Ленинград, навещался в Москву, чтобы сыграть деду новое выученное произведение и получить бесценный совет. Происходило это в аудиториях Гнесинского института, куда Арсения пускали по старой памяти и где когда-то сам Норштейн спасался от коммунальных неурядиц. Жаль, что в последнее время эти поездки прекратились. Остались только звонки. После того как дочь вышла на пенсию и много времени проводила дома, телефонное общение с внуком изрядно затруднилось. Эх! Если бы не тот случай перед третьим туром конкурса Чайковского, то сейчас он играл бы в лучших концертных залах мира. Но, увы... Указательный палец левой руки, сломанный неожиданно сорвавшейся с опоры крышкой рояля, сросся чуть-чуть неправильно. В принципе это не помешало быстро вернуть форму, но Арсений с тех пор никак не мог преодолеть страх перед сольными выступлениями. Без публики он играл блестяще, даже глубже и тоньше, чем прежде. Но только без публики. Со сценобоязнью справлялся, если только аккомпанировал кому-то. Норштейн часто говорил себе: если бы не семейная ссора, всё могло бы быть иначе. Наверное, он сам не до конца закрепил тогда крышку, был не очень собран, смятён из-за того, что происходило в семье. Выходит, Светлана виновата в том, что у Арсения такая жизнь? Совсем не та, какую он заслуживал по своему таланту?

Виделся Лев Семёнович и с иногда приезжавшим в Москву вместе с Арсением зятем, Олегом Храповицким. Тот работал в Пушкинском Доме. Ему досталась квартира родителей, которые с такой же шляхетской гордостью, как и жили, умерли один за другим ещё в конце шестидесятых. Арсений первое время делил кров с отцом, но, когда начал работать в филармонии, получил жильё где-то недалеко от Финляндского вокзала.

## 1948

Зимой и весной того года Лапшин чувствовал себя одинаково плохо. Лечился морфием, ходя на прописанные врачом уколы в районную поликлинику в Пушкине, похожую больше на полевой медпункт, но не отказывался и от «добавочных» порций у Людочки. В мае Шура нашёл в себе силы признаться: он заглядывает к Гудковой всё чаще не только потому, что боль невыносима и больничного морфия ему недостаточно, и не потому, что иногда болезненная всепоглощающая слабость не позволяет ему добраться до его сиротского жилья. Правда и в том, что ему всё больше нужен морфий как таковой, чтобы испытать весь спектр связанных с ним ощущений, томительных, будоражащих, высвобождающих неведомые силы, смиряющих с телесным несовершенством. Да и странное общество, что всю зиму и весну собиралось у его бывшей одноклассницы и куда он органично влился, необъяснимо притягивает его. Хотя те разговоры, которые витают по Людочкиной комнате, всякого, кто не утратил инстинкт самосохранения, заставили бы как минимум насторожиться и засомневаться, стоит ли продолжать общаться с этими людьми. А он не только не пропускал ни одной встречи, но ещё и ввёл в борисоглебский круг близкого своего приятеля, хохмача и бонвивана Мишу Шнееровича.

С ним они сегодня договорились встретиться около кинотеатра Повторного фильма, чтобы идти к Гудковой вместе. Шура стоял на самом углу Герцена и Никитского бульвара, не спеша, с сознанием дела, курил и привычно прислушивался к себе: боль жила сегодня в нём глубоко и тихо, почти не показываясь. «Но укол всё равно нужен, – договаривался он сам с собой. – Без него боль обязательно усилится».

За последние месяцы Лапшин, как к родным, привык к четырём девушкам, чьё появление так внезапно и необъяснимо всполошило тот февральский вечер, когда Людочка впервые заговорила с ним о необходимости решиться на операцию.

Из того их девичьего, снежно-задорного прихода потянулась змейками легкой позёмки некая новая история, в которую они попали, и всем им до поры до времени было в ней хорошо.

Лапшин недолго был единственным мужчиной в женском обществе. Кроме Шнееровича, в одну из посиделок всплыл некий Сенин-Волгин, крайне любопытный тип, математик и самодеятельный поэт, фанатично злоупотребляющий алкоголем и крамольными разговорами.

Но всё же основой компании, её необходимостью, её сутью являлись дамы.

И каждую можно было изучать, как партитуру, не такую уж прихотливую, но всё же с неким изыском.

Вера Прозорова – это яркое романтическое скерцо, остроумная, смелая, даже чуть беспардонная, вращающаяся во многих кругах, родственница второй жены Нейгауза, знакомица многих его учеников, в частности Рихтера. Не эрудированная, но с цепкой памятью, способная производить впечатление персоны, причастной к интеллектуальным секретам. Она не то чтобы принуждала всех влюбляться в неё, но не переносила, когда замечала, что мужчина никак, хотя бы втайне, не мечтает о ней. Насчёт Шурины она, как он предполагал, некоторое время сомневалась, влюблён тот или нет, не назойливо, но регулярно проверяя, не дрогнуло ли его сердце, не пополнит ли он череду её воздыхателей, не предпримет ли штурм. Однажды она даже приехала к нему на Зеленоградскую: Лапшину было так плохо, что он с трудом поднялся, чтобы встретить её. Формальным поводом для визита стало желание Веры передать другу мартовскую книжку «Нового мира», где были опубликованы новые стихи Смелякова и Симонова. Вера любила поэзию почти так же страстно, как любила любовь к себе окружающих. Сидела она у него тогда изнурительно долго, говорила без умолку, острила и безудержно хохотала над собственными остротами. Шура изнемогал от боли, но не подавал виду, из последних сил подерживая беседу. Наконец он вежливо напомнил ей, что скоро уйдёт последняя электричка

до Москвы. Верочка заметно расстроилась, нахмурилась и спешно засобиравалась. Уходя, загадочно бросила:

– Иногда борьба с собой не нужна и смешна.

Вторая девушка, Генриетта Платова, чем-то была похожа на Веру – та же дерзость, тот же задор, но если в Вере безостановочно бурлила романтическая самовлюблённая дребедень, заставляющая потакать её только своим порывам и свирепеть, когда другие эти порывы игнорировали, то Генриетта жила не так эгоцентрично, с неторопливым достоинством в повадках, неплохо разбиралась в людях, мягко направляя их в нужную ей сторону. Учёба в театральном училище сказывалась, она играла и в жизни, при этом не теряя вкуса к игре и тонко чувствуя партнёра.

Иногда Лапшин дивился, что связывает Платову со Светой Норштейн. Света предпочитала больше слушать, чем разговаривать, не стремилась быть всё время в центре внимания, но если уж вступала в беседу – высказывалась остроумно, интересно, но предельно деликатно, явно не ставя себе целью шокировать собеседника. Когда к Гудковой зачастил Сенин-Волгин, Свете это явно пришлось не по душе. Тот в подпитии ничего себе не запрещал, даже называл Сталина сухоруким и щербатым. Света нервничала из-за этого и глазами искала защиты у Лапшина. Один раз Лапшин, когда Сенин-Волгин принялся распевать весьма непристойные частушки, поймав просящий взгляд девушки, довольно делано произнёс:

– Что-то Света сегодня совсем неважно выглядит. Может, отпустим?

Гудкова тогда недоумевала:

– А что она, немая? Света! Что у тебя болит? Может, дать какую таблетку?

– Нет, нет. Просто переутомление. Надо, наверное, полежать. Спасибо. Я пойду. Всем хорошо провести время.

После её ухода Евгений Сенин-Волгин зло пробурчал:

– Всё с ней в порядке. Просто корчит из себя образцовую советскую студентку. Хочет и рыбку съесть, и на хрен сесть. Знаю я таких. А Лапшин ей подыгрывает.

Платова укорила его за эти слова, но без особого рвения. Лапшин промолчал. С пьяным Сениным-Волгиным лучше не связываться.

Математика-алкоголика затащила на Борисоглебский Таня Кулисова. О ней у Лапшина сложилось самое нечёткое представление. Говорит мало. Ест подчёркнуто аккуратно. Держится прямо, но не скованно. Всегда в одной и той же тёмной блузе с белым воротником. Улыбается разнообразно. То еле-еле, неохотно, словно по принуждению, то лукаво и длинно, со смыслом, то широко, открыто, слегка обнажая зубы. Слушает каждого из гостей очень внимательно. Оживляется при разговорах о литературе.

Откуда она знает Сенина-Волгина, иногда задавался вопросом Лапшин. Что у них общего?

Людочку Лапшин от этой четвёрки отделял. Ему не требовалось познавать её, он давно, с детства, сжился с ней. Когда мужчина знаком с женщиной слишком долго и никогда не делил с ней постель, то чаще всего он не в состоянии воспринимать её гармонично.

Тайна познания отдельно взятой женской сути для мужчины не бесконечна. И если не дошла до конца, то на этом месте и замирает, чтобы затем превратиться из чего-то живого, нервного и неугомного в обычный факт знакомства.

Шнеерович задерживался, и Лапшин уже начинал злиться. Ему хотелось получить укол как можно скорее. Он рассчитал время так, чтобы появиться у Люды, пока её комната не набьётся гостями. А тут из-за непунктуальности Шнееровича весь план того и гляди рухнет.

Московские деревья снова поверили в себя после долгих месяцев тяжёлых холодных терзаний и выбросили крошечные флажки нежно-зелёных трепещущих листьев, словно давая сиг-

нал, что всё плохое забыто и, наверное, не вернётся. Хозяйки в массовом порядке, скрипя тряпками и газетами, мыли окна, городские птицы облепляли карнизы, подоконники, прыгали по тротуарам, таились в ветках и листве, довольно поквохтывая и попискивая.

Наконец он заметил приятеля, семенящего по неровному, с выбоинами, асфальту. Шнеерович ходил так, будто при каждом шаге чуть-чуть подпрыгивал.

– Ну что ты? Где ты был? Я уже думал уходить... – укорял приятеля Лапшин.

– Что-то закопался. Никак ботинки не мог найти... – оправдывался Михаил.

Друзья перешли бульвар, где упоительно пахло свежей землёй с клумб, прошли белую невысокую церковь с аккуратным палисадником, потом, оставив по левую руку поворот в Мерзляковский, оказались в Медвежьем, где сразу почувствовали себя почти в глуши. Сюда не долетали шумы автомобилей, а дома жались друг к другу так тесно, что почти весь переулок утопал в тени.

– Интересно, почему его назвали Медвежьем? – спросил Шнеерович.

– Может, место тут когда-то было больно глухое. Оно и сейчас какое-то захоластное, – задумчиво произнёс Лапшин.

– Да ну, вряд ли, – засомневался Михаил. – Медвежий угол в смысле? Нет. Наверное, всё же с медведями связано. С настоящими медведями.

– Тебе виднее, – раздражился Лапшин. Его выводило из себя, что Шнеерович идёт слишком медленно, да ещё с разговорами неуместными пристаёт.

В конце весны и в начале лета в московских подъездах появляется особый запах: и состоит он вроде бы из того, что пахнет совсем обычно, – из пыли, из тёплого камня лестниц, из нагретых оконных рам, – но в сочетании даёт неповторимый тон и веру, что с приходом тёплой поры всё будет даваться легче.

Как только Людочка открыла дверь, Лапшин насторожился. С его приятельницей явно что-то случилось. Весь её вид говорил об этом. На шутки остряка Шнееровича она реагировала сухо и даже раздражённо, хотя обычно смеялась. Под глазами нависли мешки, глаза беспокойно бегали. Михаилу не пришло в голову выйти из комнаты, когда Людмила готовилась вколоть Шуриньке очередную дозу морфия, и она довольно зло выставила его. Правда, его шаги и пение из коридора доносились так громко, что казалось, будто он остался в комнате, только обернулся на время невидимым. Лапшин уговаривал хозяйку не обижаться на Шнееровича: он, конечно, иногда ведёт себя на грани приличия, но в целом Миша надёжный друг и хороший музыкант. Людочка без энтузиазма покачала головой в ответ. Шнеерович ей не нравился совсем, но ради Шуры она готова его терпеть.

Люда надеялась, что нынешний укол останется сегодня единственным и её друг не потребует ещё одной дозы.

Шнеерович в это время вступил в разговор с соседом Людмилы, одноруким инвалидом Власом, на свою беду вышедшим в это время из своей комнаты. Михаил принялся угощать Власа анекдотами с таким усердием, как иные горные народы угощают гостей местными яствами, пока те не изнемогут и не запросят вежливой пощады. Монолог Шнееровича порой перебивался репликами однорукого, всегда одинаковыми:

– Вот даёт, артист!

Пользуясь тем, что болтун увлёкся, Люда начала с Лапшиным разговор, который в этот раз намеревалась довести до чего-то определённого:

– Шура, тебе необходимо решиться на операцию. Дальше так продолжаться не может. Мы оба погибнем.

Лапшин снял очки, беспомощно прищурился, потом уставился в одну точку где-то над головой у собеседницы. Молчал. Ничего не спрашивал. Так подсудимые ничего не спрашивают у судей, когда уверены в обвинительном приговоре.

Люда выждала и добавила с тревожным напором:

– Я больше не могу приносить морфий из больницы. Я уверена, что наша старшая сестра что-то подозревает. Если вскрыется, что я... – девушка перешла на шёпот, – подделываю назначения больным, которые в инъекциях не нуждаются, а морфий уношу, меня не пощадят.

Шуринька положил руки на грудь, потом на лицо – будто не ведал, куда их деть.

– Я не знал, что ты... подвергаешься из-за меня такой опасности. Какой кошмар! – В Лапшине всё внутри закрутилось, сдвинулось, чтобы через несколько секунд замереть в недоумении, в неосуществлённом крике.

– А ты думал, откуда всё берётся? – зло бросила Люда и подошла к нему. Она доставала ему ровно до подбородка. – Мне его дарят? Или в СССР можно наркотические средства выносить из больниц свободно?

– Прости меня. – Шура автоматически, без капли теплоты, прижал её голову к себе. – Конечно, не надо больше брать для меня морфий. Я потерплю...

– Потерплю? Тебе надо всерьёз поговорить с врачом. Ты становишься наркоманом. Это страшнее, чем язва, поверь. Думаешь, я слепая? Не хочу больше быть твоим убийцей.

– Но мне прописано лечение морфием! Разве нет? Я правда, правда не подозревал, что ты так рискуешь.

Люда отвернулась и бросила сквозь зубы куда-то в сторону:

– Идиот...

Шура услышал, конечно. Сжал губы. Чуть пригнулся, словно беспомощно защищаясь от чего-то.

Девушка впервые себе позволила в адрес обожаемого Шуриньки такое.

В этот момент дверь в комнату отворилась и сияющий Шнеерович показался в проёме:

– Ну что! Можно уже войти? Мой друг получил необходимую помощь? Из дивных рук? Мой друг? Не вдруг?

Люда, глазами попросив рифмача-самоучку посторониться, молча вышла из комнаты, унося с собой металлическую коробку со шприцами, ампулы, вату.

– Не паясничай, Миша! – осадил Лапшин Шнееровича. – Людочка – мой спаситель. Если бы не она, я едва ли пережил бы эту зиму.

Два звонка. Весёлых и решительных.

– Может, ты откроешь? – попросил Шуринька товарища.

– Уже бегу. – Шнеерович с картинной чёткостью развернулся и, имитируя бравурный строевой шаг, проследовал прочь и вскоре начал церемонно приветствовать вновь прибывших.

## Часть вторая

### 1962 и далее

Первые годы своей жизни Арсений Храповицкий не демонстрировал никакой склонности к музыке. Дед пару раз сыграл ему несколько несложных песенок и потом попросил их пропеть. Мальчик в ответ издал что-то неопределённое и мало похожее на услышанное. «Ну, слава богу, – решил Норштейн. – В мире столько профессий, кроме музыкальных. Пусть будет врачом или учёным. Не всем же тащить эту „блаженную муку звуков“ за собой всю жизнь».

Музыкальные способности открыл в Арсении не кто иной, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Произошло это при любопытных обстоятельствах.

Норштейн и Шостакович дружили, хотя иногда между ними вспыхивали яростные ссоры, после которых обидчивый Дмитрий Дмитриевич мог неделями не общаться с приятелем, но потом внезапно звонил в дверь Норштейнов, быстро проходил на кухню и ставил на стол пол-литра и какую-нибудь нехитрую закуску.

И тогда беседы их наполнялись особенным взаимным азартом, внутри которого разность каждого из них уравнивалась общим представлением о том, каким может быть мир, если законы гармонии восторжествуют над низменными инстинктами.

В один из весенних дней 1962 года Шостакович объявился в квартире Норштейна после весьма крупной размолвки.

Кошка на этот раз пробежала между композиторами после очередного доклада Шостаковича на пленуме Союза композиторов РСФСР, которым он тогда руководил. В докладе подвергалось жёсткой критике бюро пропаганды Союза композиторов за несбалансированную концертную политику. А это бюро возглавляла бывшая соседка Норштейнов, та самая Елена Петровна Хорошко, которую Лев Семёнович в своё время устроил на работу в Музфонд и которая за очень короткое время вникла во все музфондовские нюансы и премудрости. Отсутствие музыкального образования вдова военного прокурора компенсировала чудодейственной усидчивостью и природным тактом и вкусом. После доклада Шостаковича с явно несправедливыми обвинениями она с трудом сдерживала слёзы. Норштейн вскипел и сразу же подошёл к Шостаковичу, чтобы спросить его, что тот имеет против прекрасно работающего бюро. Автор Ленинградской симфонии сослался на то, что доклад писался в ЦК партии, а он только зачитал его. Норштейна не на шутку рассердил такой ответ, и он, хоть и ненавидел сквернословие, не сдержался и в сердцах выругался матом. Шостакович был возмущён до глубины души, надулся и, не простившись, быстро вышел из зала.

В этот раз Дмитрий Дмитриевич к перемирию принёс две бутылки водки, чем насмешил Норштейна невероятно, – гений решил взять количеством! В прихожей живой классик суетливо доложил Льву Семёновичу, что позвонил Елене Петровне, объяснился с ней и та больше не держит на него зла.

После первых двух рюмок Шостакович достал из той авоськи, в которой принёс водку, партитуру новой, 13-й симфонии. Норштейн изумился: ведь Шостакович редко кому показывал произведения до их исполнения. Однако выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич и не собирается ничего демонстрировать. Он вкратце пересказал свой замысел и робко поинтересовался у Норштейна, не возникнут ли проблемы с исполнением симфонии из-за части «Бабий Яр». Когда Лев Семёнович попытался уточнить, что конкретно беспокоит композитора, лауреата стольких премий и крупного начальника, тот как-то двусмысленно пожал плечами, грустно огляделся и убрал рукопись обратно в авоську, при этом руки его так задрожали, что партитурные листы рассыпались по полу. Тут в комнату вбежал с визгом шестилетний Арсений,

собиравшийся вызвать деда на игру в прятки, но, увидев рассыпавшуюся симфонию, бросился к ней и уставился на нотные линейки, исписанные неровными палочками, точечками и другим неведомыми ребёнку знаками.

Ребёнок совсем не по-детски, напряжённо всматривался в ноты, гений русской музыки добродушно изучал ребёнка, композитор Норштейн наблюдал за ними. Наконец Дмитрий Дмитриевич обратился ко Льву Семёновичу:

– Мне кажется, он будет музыкантом. Он так изучает партитуру, словно вот-вот примется дирижировать.

Арсений поднял глаза и с тихой благодарностью прижался лбом к коленке классика, а потом вопросительно уставился на деда.

Лев Семёнович оторопел от этой сцены. Таким серьёзным Арсюшку он раньше не видел. Зачем Шостакович в тот день приносил партитуру, так и осталось неизвестным.

На следующий день Норштейн усадил внука за инструмент. Честно говоря, он никогда прежде не занимался с маленькими и довольно долго размышлял над тем, как проверить: верна ли догадка гениального соседа?

Наконец он придумал. Заранее написав на нотном листе ноты в скрипичном ключе, он поставил его на попигр и стал называть их Арсению. Каково же было удивление Льва Семёновича, когда мальчик без всякого раздумья не только повторил их, но и спел, демонстрируя абсолютный слух.

После этого старый Норштейн, как был в тапочках и домашней одежде, чуть не вприпрыжку пустился в нотную библиотеку Союза композиторов, которая, по счастью, находилась в соседнем подъезде. Взяв там все имеющиеся пособия для детей, он вернулся, застав Арсения наигрывающего что-то весьма оригинальное и музыкально-логичное, причём абсолютно поставленными, пианистическими руками, с округлой кистью и свободными плечами.

Весну и лето дед посвятил музыкальному развитию внука, тот прогрессировал очень быстро, и в сентябре его приняли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории сразу во второй класс.

Олег и Светлана сперва крайне настороженно относились к этому, но потом прониклись и радовались успехам Арсения со свойственной родителям самозабвенностью, хоть в музыке всерьёз не разбирались и оценить перспективы сына не могли.

На премьеру 13-й симфонии Шостакович пригласил всё семейство Норштейнов, включая маленького Арсения. Тот, несмотря на все страхи родителей, просидел до самого конца с горящими глазами. Понял ли Арсений тогда что-то в этой трагической и в то же время фарсовой музыке? Лев Семёнович был уверен, что гениальное сочинение проникло в малыша, несмотря на то что тот ничего ещё не знал ни о Бабьем Яре, ни о заканчивающейся оттепели, ни об авторе стихов Евтушенко, ни о советской власти. На той премьере многим запомнилось, как вальжно кланялся поэт и как композитор выходил на поклон неохотно, нервно, похоже не очень довольный то ли исполнением, то ли собой, то ли ещё чем-то.

Симфонию вскоре запретили к исполнению.

Димка предполагал, что дедушка после семейного разрыва не прекратил общение с его отцом и его братом. Почему? Да потому. Не мог дед пойти на поводу у матери! Мог только изобразить, что подчинился. Дед не из тех, кто бросает близких на произвол судьбы. Но вот почему он не посвящает в это его? Спрашивать Дима у деда об этом опасался. А вдруг он ошибается, и дед порвал с папой и Арсением так же бесповоротно, как и мать?

Скучал ли сам Димка по отцу и брату? Конечно. Но их образы постепенно стирала обида на то, что они не предприняли ни одной попытки увидеться с ним! И слёзы, которые он частенько, особенно в первые годы после потери, проливал по ночам, высыхали от своей бесполезности.

Новые обстоятельства поглощали старые. Из мальчика он выросстал в юношу. И учился терпеть. И забывать то, что угнетало.

Он дорожил материнской любовью. После того как семья раскололась, вся она досталась ему одному. Когда Светлана Львовна неоправданно сердилась, он не обижался, а страдал. Страдал и за себя, и за неё.

Ни бывшему мужу, ни родителям, ни детям не могло прийти в голову, из-за чего Светлана Храповицкая превратилась в ту, о ком вежливые люди говорят «своеобразный человек», а те, кто поразвязней, кличут за глаза «сумасшедшей гримзой».

С ума она сошла из-за любви. Любви, которая настигла её в сорок лет, преобразила и изменила всё не только внутри, но и вокруг, будто кто-то наконец настроил до этого сбитый фокус её взгляда на себя, на людей, на события, на прошлое и настоящее.

Света вышла из второго декрета значительно раньше положенного. Уговорил её на это Олег. Видя, что супруга начинает закисать от ежедневных забот и всё чаще вспоминает своих коллег по кафедре, он организовал что-то вроде семейного совета, на котором все пришли к выводу: Димке нужно брать няню. Это позволяло Светлане вернуться к преподаванию и не чувствовать себя только домохозяйкой. Молодая мать сперва колебалась, не уверенная в правильности такого поворота, но потом всё же дала себя уговорить. Ей действительно было тяжело замыкаться лишь на домашних заботах, её натура противилась такой участи, доля её осложнялась ещё и тем, что Мария Владимировна в силу возраста не могла уже помогать ей с Димкой так много, как с Арсением. Работу же свою она любила, успехи и неудачи студентов воспринимала как личные, а с некоторыми, особенно увлекающимися английским языком и английской литературой, выстраивала доверительные отношения. Ей очень по вкусу было объяснять что-то с кафедры, подходить к доске, писать на ней мелом по-английски, ловить взгляды учеников и постепенно завладевать их юным горячим вниманием.

Часов она взяла немного, чтобы резко не отрывать от себя ребёнка. Первое время она опасалась, что Диме не пойдёт на пользу то, что мать перестала находиться рядом каждую секунду, но няня, по имени Дуняша, крепко знала своё дело. Да и по характеру оказалась покладистой. Со всем семейством Норштейнов-Храповицких она быстро свыклась, регулярно потчует обитателей квартиры в доме на Огарёва захватывающими и, как водится у простых людей, наполовину вымышленными историями из своей жизни. Чаще всего в них фигурировали её многочисленные родственники, проживающие в подмосковной деревне Шепиловке. Из этой благословенной местности Норштейнам-Храповицким летом и осенью перепадали свежие, с огорода, помидоры и огурцы, а круглый год племянник Дуняши Сергей привозил на продажу свежайший домашнего приготовления творог. К этому продукту быстро пристрастились многие соседи по дому, Сергей же превратился в весьма популярную на Огарёва личность. Стоил творог по советским временам не так уж дорого, три рубля за килограмм, и семьи советских композиторов вполне могли позволить себе такие траты.

За Димкой няня смотрела внимательно и любовно, но не сюсюкала сверх меры. Она быстро научила его самостоятельно есть и одеваться. В выходные дни малыш звал Дуняшу и плакал оттого, что её нет.

## 1948

Никогда ещё Лапшин не выходил от Людмилы в таком скверном настроении. То, что он услышал от неё, перевернуло в нём всё и в этом безвозвратном повороте оставило его беззащитным.

А надо было что-то предпринимать. Найти в себе силы отказаться от морфия? Но тогда боль его разрушит быстрее наркотика. Согласиться на операцию? Но он, как считает его врач, вряд ли её выдержит. Ждать, что всё разрешится само собой? Ждать конца?

День иссякал, придавая извилистым старомосковским перспективам романтическую загадочность. Лапшин шёл по Борисоглебскому к Арбату. Курил. С каждым шагом и с каждой затяжкой всё больше укрепляясь в том, что между рискованной операцией, наркозависимостью и смертью выбрать ничего невозможно. Но операция избавит Люду от необходимости красть для него морфий. И это единственное, что имеет значение.

Он сегодня покинул сборище раньше всех, чтобы не показать, как он смятён. Шнеерович просил его подождать, но Лапшин сослался на то, что к нему вечером должна зайти хозяйка комнаты за очередной квартплатой и ему надо успеть на электричку. Неприятно, что соврал, да ещё так неуклюже, но ему сейчас не до досужих разговоров.

Сенин-Волгин сегодня вёл себя слишком экзальтированно даже для себя. Удивляло, что Шнеерович нашёл в нём почти союзника. Они наперебой острили, не стесняясь выбирать предметом своих острот присутствующих. Досталось всем. Но если Платова и Прозорова видели в этих шутках часть своеобразного флирта и игриво отвечали на выпады, то Света Норштейн явно злилась, хмурилась и готова была взорваться в любую секунду. Танечка Кулисова по обыкновению помалкивала, а Людочка то и дело куда-то выходила. Надо сказать, что этими отлучками хозяйки Сенин-Волгин пользовался, чтобы позлословить и в её адрес.

Кончилось всё тем, что Света выбежала, наговорив резкостей Людочке, которая, по её мнению, пускает к себе в дом хамов. Сенин-Волгин помчался за ней на лестницу и вскоре вернул её обществу, видимо извинившись или чем-то ещё смягчив девичье сердце. Людочка и Света публично примирились, обнялись и расцеловались.

Тут Лапшин понял, что надо уходить. Теснящая его тоска понуждала к тому, чтобы куда-то идти, идти, идти, пока не наметится какая-нибудь цель.

Он пересёк Собачью площадку и добрался до Арбата, почти не осознавая пути.

По улице, протяжно гудя, катили автомобили. Милиционер в белой форме и с жезлом смотрелся весьма нелепо. Лапшин слышал, что на этой улице много энкавэдэшников в штатском. Шнеерович как-то уверял его, что они ошибаются там днём и ночью и их легко узнать по одинаковым шарфам. Но Лапшин, сколько ни ходил по Арбату, никогда не мог их различить. Шарфы у всех были разные.

Шуринька остановился недалеко от проезжей части. Одна машина проехала очень близко от него, едва не сбив. Он успел увидеть в окне знакомый профиль. Резко изогнутая бровь. Узкий прищуренный глаз, нос с достаточно крупной ноздрёй, пышные усы, чуть стёсанный подбородок. Сталин? Нет. Так не бывает. Но всё же он испугался и отшатнулся в сторону. Чуть не упал. Потом засеменил прочь. Шум машин болезненно скрежетал в ушах.

Это был Сталин! Точно Сталин!

Теперь он в этом не сомневался.

Трубниковский переулок, куда он свернул, сейчас показался ему уютней Борисоглебского.

Он заглянул в какой-то двор, посидел на лавочке, выкурив подряд две папиросы, потом вскочил и быстро зашагал куда-то во тьму.

Может быть, вернуться к Людочке? Сказать, что опоздал на электричку? Попроситься на ночлег?

Кто-то словно вытягивал из него силы, а он не мог сопротивляться этому...

По Трубниковскому дошёл до улицы Воровского. Потом снова углубился в дворовую сеть со свалками, лавками, арками, сквозными проходами, жителями, о чём-то хлопочущими, шмыгавшими туда-сюда кошками. Опять оказался на Собачьей площадке. Почувствовал, что совершенно обессилел. Еле-еле дотянул себя до неработающего фонтана. Сел на одну из двух поднимающихся к фонтану ступенек, лицом к одноэтажному длинному фасаду с распахнутыми окнами. Привалился спиной к чугунному основанию. Впитывал разнообразные звуки успокаивающегося весеннего города. И тут услышал такое, что едва его не убило.

Два голоса. Женский и мужской. Мужской – тихий, но очень твёрдый. Незнакомый. Женский как будто извиняющийся. Торопливый. Докладывающий. Узнаваемый. Он слышал его совсем недавно. Правда, голос звучал совсем по-другому. Что это? Шуринька плотнее вжался спиной в прохладный камень. Хотелось исчезнуть в этот же миг и никогда больше не появляться на свет.

– Что конкретно Сенин-Волгин говорил о товарище Сталине? – вопрошал мужчина.

– Он конкретно не говорил про товарища Сталина. – Женщина, видимо, задумалась, чтобы дальше формулировать чётче. – Но советскую власть называл блевотиной. Это так. Но ведь все мы знаем, что советская власть и товарищ Сталин – это почти одно и то же.

– Заткнись! Твоё мнение о природе советской власти нас не интересует. А еврейчики-музыканты что? Поддакивали?

– Лапшин больше молчал. Хотя видно, что солидарен с Сениным-Волгиным, а Шнеерович открыто поддерживал.

– Ага... И так на каждом этом сборище ведутся антисоветские разговоры?

– Да. Без них не обходится...

– Прозорова, разумеется, из зачинщиц.

– Да. Она всегда улыбается, когда Сенин-Волгин проклиняет советскую власть.

– А Запад они, разумеется, хвалят.

– Шнеерович сегодня распялся, что в СССР запрещают какого-то Берга.

– Ясно. Еврей еврея не обидит.

Слышно было, как мужчина чиркнул спичкой. Потом до притихшего и боящегося вздохнуть Лапшина дошёл едкий запах папиросы.

– А этого Шнееровича привёл Лапшин, значит?

– Да, около месяца назад где-то Шнеерович появился... – С каждой репликой голос женщины звучал спокойней.

– И они большие приятели? – Мужчина спрашивал всё это с ленцой, не сомневаясь в ответах.

– Конечно.

– Значит, Лапшин такой же антисоветчик и враг, только скрытый.

Тут Шуринька не выдержал. И хоть всё его существо сейчас подсказывало ему не шевелиться сколь можно долго, пока голоса не уйдут, он, вопреки всякой логике и осторожности, резко вскочил, так что в голове всё зазвенело, и что есть силы побежал, стремясь как можно быстрее достигнуть Борисоглебского, а там скрыться в каком-нибудь подъезде, подвале, люке, забиться в такой угол, где его никто не отыщет.

Если бы он мог видеть то, что происходило у фонтана на Собачьей площадке после его бегства, его взору явилась бы следующая картина.

Мужчина в тёмном пиджаке быстро встаёт и всматривается в бегущего:

– Чёрт возьми, кто это? Откуда он взялся? Он подслушивал нас?

Девушка с опущенной головой отвечает:

– Проклятье! Это Лапшин. Не пойму, как он мог здесь оказаться.

– Что значит не пойму? Он следил за тобой? Что-то заподозрил? – Мужчина с крика перешёл на рёв.

– Мне почём знать?

– Вот дура, дура, дура! – взревел человек в пиджаке. – Идиотка...

Майскую тишину разрезал звук пощёчины. Девушка пискнула и схватилась за щеку.

## 1970

В начале зимних каникул 1970 года университетское начальство поручило Светлане свозить на экскурсию во Владимир группу первокурсников.

Ехать предстояло на автобусе по заснеженному Подмосковию, а потом по Владимирской области. Воодушевление студентов, только что сдавших первую университетскую сессию, перешло и преподавательнице. Она вела себя почти так же беззаботно, как они.

Светлана Львовна выглядела моложе своих лет. Она тщательно ухаживала за собой, делала для лица маски из кефира с огурцами, пользовалась косметикой, которую муж в большом количестве привозил ей из зарубежных командировок, а в последнее время по совету Дуняши мыла голову луком, что придавало её тёмным, чуть вьющимся локонам особую шелковистость и блеск.

В Москве в тот год выпало рекордное количество снега, и дворники, так же как и водители снегоуборочных машин, всё чаще впадали в отчаяние. Первые скрипели лопатами по снегу с безнадежным усердием, а вторые просто хмурились, посылая небу настойчивые просьбы о прекращении осадков. Не оставались равнодушными к природным катаклизмам и обладатели личного транспорта, частенько вязнувшие на своих авто в рассыпчатых снежных засадах. Одного такого забуксовавшего бедолагу парни из их группы где-то уже на самой окраине Москвы вызволили из беды, с дружными подбадривающими криками вытолкнув из снега его «запорожец».

Как только выехали из города, обхватывавший дорогу лес поразил великолепной недвижимой белизной и чуть слышно шелестящим покоем. Один из студентов, Юрий Охлябин, неизменно задававший Светлане Львовне после занятий кучу вопросов, взял с собой гитару. Первое время она одиноко лежала на заднем сиденье, а на одном из поворотов с низким и глухим звоном грохнулась, из-за чего Юра изменился в лице и кинулся её поднимать. В итоге он уселся сзади, чтобы присматривать за сохранностью инструмента. Иногда любовно поглаживал корпус в тёмном чехле.

Когда бесконечная зимняя трасса окончательно взяла их автобус в тягучий загородный плен однообразной езды, Юра расчехлил инструмент и до самого Владимира развлекал однокурсников и преподавательницу песнями из репертуара входивших тогда в моду каэспэшников. В этих мелодиях чуть фальшивая лихость сочеталась иногда с такой неподдельной грустью, что Светлана непроизвольно замечталась. Предчувствовала она тогда что-то? Бывало, что, вспоминая потом ту дорогу из Москвы во Владимир, она отвечала на этот вопрос положительно. Но, скорей всего, это была иллюзия.

Памяти свойственно создавать воронки многозначительности на чистой глади прошлого.  
Густо заваленный снегом Владимир.

Несуетное былинное величие.

Город, где легко фантазировать о давнем прошлом.

Подсевший к ним на Соборной площади экскурсовод, с продолговатой, как говорят, лошадиной физиономией, несмотря на то что явно не обладал отменной дикцией, придал экскурсии такую увлекательность, что неизвестно, от чего слушатели получили больше удовольствия: от его рассказов или от видов холодновато-таинственной древности.

К вечеру студенты, уже давным-давно расправившиеся с взятыми с собой бутербродами, изрядно проголодались. Решено было зайти в ближайший гастроном и запастись продуктами в обратный путь. Владимирский продмаг разнообразием ассортимента не впечатлил. Ничего, что бы можно было взять с собой в дорогу, на прилавках не обнаружилось. Надо сказать, что на них вообще почти ничего не обнаружилось. Светлана навсегда запомнила стыд, который

испытала тогда перед студентами. «Почему так? – спрашивала себя она. – Неужели живущие здесь люди не заслужили право купить то, что им хочется? Как тут выжить? Чем кормить детей? Или это случайность? Стечение обстоятельств? Просто день такой, когда ничего нет, и завтра всё наладится?»

В столице в те годы продукты первой необходимости не были жгучей проблемой, особенно в центре города, – чего-то не найдёшь в одном магазине, докупишь в другом, а дефицитные товары Олег доставал через знакомых, которые у него при его общительном и лёгком характере имелись в огромном количестве. Да, она слышала про «колбасные поезда», про то, как жители российских городов совершают продовольственные набеги на Первопрестольную, но всё это существовало вне её и потому особо не тревожило.

Полноватая продавщица, с белыми крашеными волосами, облокотившаяся всем своим массивным боком на дверь в подсобку, изрекла тоном, не лишённым глубокомысленной издёвки:

– Москвичи? Зря заявились к нам! Это ж мы к вам за продуктами мотаемся. Тут ловить нечего. Могу предложить водку, макароны, спички... Ха-ха!

Нетрудно было заметить, что она уже «приняла на грудь». Рядом с ней на грязного цвета деревянном стеллаже высились бутылки разного спиртного – от водки до дешёвого плодово-ягодного вина. Светлану ни с того ни с сего потянуло выпить. Но при студентах об этом не могло быть и речи. Голодные первокурсники на глазах приуныли, поняв, что ничем разжиться тут не удастся, а голод придётся терпеть до самой Москвы. И тут произошло нечто ужасное: Юра Охлябин вдруг со всей высоты своего немалого роста рухнул на пол и забился в жутком припадке, когда дрожит всё тело, а на губах выступает пена. Пока все осознали, что произошло, к упавшему кинулся мужчина, неизвестно откуда взявшийся в магазине, и первым делом резко потянул его челюсть вперёд. Потом поднял глаза на замерших москвичей и раздражённо крикнул:

– Что стоите? «Скорую» вызывайте!

Пока «скорая» ехала, поклонник бардовской песни пришёл в себя и ошарашенно вертел головой:

– Что со мной?

– Всё будет хорошо. «Скорая» в пути. Не двигайся пока, – наперебой принялись успокаивать его сгрудившиеся над ним однокурсники.

– Не лезьте к нему. Ему нельзя сейчас двигаться, – по-хозяйски отдавал распоряжения незнакомец. – С тобой первый раз такое? – Спаситель тревожно взглянул сквозь очки с удлинёнными стёклами на того, кого он только что спас.

– Первый, – жалобно пролепетал Юра.

– Вы кто ему? – спросил мужчина у Светланы.

– Преподаватель. Мы здесь на экскурсии. Что с ним? А вы кто?

– С ним, по всей вероятности, эпилептический припадок, – ответил он тихо, чтобы никто, кроме Светланы, это не услышал. – А меня зовут Волдемар. Волдемар Саблин, врач-реаниматолог. Именно «Вол», без мягкого знака, мой отец эстонец...

Светлана обрадовалась, что перед ней врач. В то время в советских людях жила непоколебимая вера в профессии: раз врач – значит вылечит.

Как так получилось, что она, дожив до 40 лет, родив двоих детей, ни разу не испытывала того, что называют «снос головы»? В какой момент она поняла, что при виде этого худощавого мужчины в элегантных очках у неё всё дрожит внутри от желания немедленной близости?

Когда приехала «скорая», Саблин настоял, чтобы больного отвезли в больницу, где он работал. Кажется, бригада полностью состояла из его добрых знакомых. Светлана за это время

назначила из числа студентов старшего и отправила их в Москву. Ничего! На экскурсионном автобусе доедут до метро, а там – не потеряются.

Светлана сказала Волдемару, что останется с Юрой столько, сколько будет необходимо. Нельзя его бросать! Тот не возражал:

– Дело ваше!

Больница оказалась не очень далеко, и они с Волдемаром дошли до неё пешком минут за пятнадцать.

В широких коридорах пахло человеческим горем вперемежку с медикаментами. Туда-сюда сновали безучастные люди в халатах.

После обследования и сдачи анализов юноше до утра предписали полный покой, и он вскоре уснул в палате, где ещё шесть человек ожидали чего-то от жизни или от смерти. Саблин пояснил, что теперь опасность миновала, но в Москве Юру необходимо показать специалистам.

Видя, что Светлана в полном смятении и ей надо отвлечься, Волдемар пригласил её в свой крохотный кабинет выпить чаю.

Пока кипятильник нагревал воду в литровой эмалированной кружке, Светлана Храповицкая смотрела в одну точку и почти не шевелилась.

– А зачем вы, если не секрет, так сильно тянули Юру за челюсть? – вдруг спросила она. – Могли же вывихнуть её?

– Не вывихнул бы. Необходимо было освободить ему дыхательные пути. Эпилептики часто умирают оттого, что задыхаются. – Он вытащил кипятильник из розетки.

Света не курила, но сейчас ей пришлось почему-то в голову попросить у него сигарету. Случившееся что-то основательно перетряхнуло в ней, и она никак не могла вернуться обратно к себе, в своё ровное, «от сих до сих», существование, ничем всерьёз не омрачаемое.

– У меня только папиросы «Герцеговина флор». Их курить не так вредно, как сигареты. У них длинный воздушный фильтр, остужающий температуру. А при низкой температуре никотин не так разрушителен. – Волдемар через очки, не отрываясь, смотрел на Светлану, вертевшую в руках спичечный коробок и не решавшуюся вытянуть из него спичку.

– Вы не курите. Зачем просили? – Так строго со Светланой Храповицкой давно никто не разговаривал.

– Вы правы. Сама не знаю почему. Можно я всё-таки попробую?

– Нельзя. – Волдемар говорил спокойно, но тоном, не терпящим возражений. – Лучше выпейте водки. Но немного. Вы сильно переволновались. Водка вас расслабит. Надеюсь, вы к ней не пристраститесь. Алкоголь в качестве антидепрессантов используют только алкоголики.

Мужчина легко поднялся, подошёл к небольшому, негромко урчащему холодильнику, достал чуть початую бутылку «Столичной» и две рюмки. Аккуратно разлил.

Светлана выпила залпом, горло обожгло, и она сразу же заела жгучую горечь чёрным сладковатым хлебом, который Волдемар перед этим нарезал толстыми кусками и положил в глубокую белую с синим ободком тарелку.

– «Бородинский» хлеб – лучшая закуска. Напоминает о великом русском поражении, обернувшимся в истории в великую победу. Но поражение от победы ты сам не должен отличать.

– Вы любите Пастернака? – Светлана вскинула брови, будто узнала о чём-то невероятном.

– А что? Это удивительно? – Саблин как будто немного засмутился. – Нет. Не люблю. Но ценю. Не прощу ему, что он Сталина переводил... – Он нахмурился, будто Пастернак был ему близким родственником, обманувшим доверие.

– Жалко Юру.

– Слава богу, приступ был не очень серьёзный. Быстро закончился. Но эпилепсия, если это она, – страшная штука. Дай бог, чтобы его ввели в длительную ремиссию.

– И что тогда?

– Тогда приступы не будут повторяться слишком часто. Всё лучше. Придётся смириться с болезнью.

Светлана вздохнула. Потёрла виски. Водка уже устроилась в желудке и оттуда согревала и торопила кровь.

– Хорошо, что вы рядом оказались. А то неизвестно, чем бы всё кончилось.

Когда они допили водку, доели хлеб и пересказали друг другу по половине своих жизней, Саблин вдруг заволновался:

– Послушайте, я что-то не сообразил. А где вы будете ночевать? Уже за полночь.

– А во сколько первый автобус в Москву? – Света возвращалась к реальности.

– Не скоро. Вы же несколько часов назад не собирались ехать в Москву без Юры. Передумали?

Светлана смутилась. Конечно, за Юрой завтра приедут родители. А её романтическая горячность скорее способ самооправдания, а не реальная помощь. Чем она поможет ему?

Теперь она выглядит перед новым знакомым как человек, легко отказывающийся от благородных планов. Неловко как-то всё складывается. Скорей бы сесть на автобус и помчаться домой!

– Вижу, вы колеблетесь. Сами решайте, сколько нужно вам оставаться в городе. Но вы не выдержите без сна. Пойдёмте ко мне! Я на раскладушке покемарю, а вас на кровать положу. Ваши родные, конечно, беспокоятся? Может, вам нужен телефон?

– Нет. Я позвонила из приёмного отделения.

– Родителям мальчика, надеюсь, тоже? – Он имел привычку излагать мысли так, будто всё время спохватывался.

– Да. Успокоила их. Они умоляли позвать Юру. Но я их уговорила до утра его не тормошить. Завтра они выезжают сюда.

– Им не позавидуешь! Теперь их жизнь изменится. Ну, раз всё сделано – пойдёмте. Предупреждаю сразу – телефона у меня нет. Но душ и чистое бельё – к вашим услугам.

– А это удобно? – В Свете никогда не умирала москвичка из интеллигентной семьи.

– Да бросьте вы! – Волдемар засмеялся. – Было бы неудобно, я бы вас не пригласил. Если вы боитесь, что я посягну на вашу честь, скажите сразу. Я буду знать, как себя вести. Если вас интересует, один ли я живу, то я вам отвечу: один.

Света поднялась. Её с непривычки к спиртному чуть-чуть шатнуло, и Саблин галантно поддержал свою новую знакомую. Пытался помочь ей одеться, но она уклонилась от этого: «Ещё подумает, что она пьяная в хлам!»

Они пошли не торопясь, будто прогуливаясь, не тяготясь ни холодом, ни усталостью. От Саблина исходил особый покой, делающий женщину счастливой и беззаботной.

Алкоголь обострил обоняние Светланы, и она в пустом ночном городе, похожем на давно не использующиеся декорации, впитывала снежную молочную чистоту всеми лёгкими так жадно, будто до этого никогда не дышала свежим воздухом. Саблин громко и гулко читал ей стихи, увлекая в какой-то параллельный мир.

Пусть каналы рвут камелии,  
И в канаве мы переспим.  
Наши песенки не допели мы —  
Из Лефортова прохрипим.

Хочешь хохмочку – пью до одури,  
Пару стопочек мне налей —

Русь в семнадцатом чёрту продали  
За уродливый мавзолей.

Волдемар пребывал в некоем сомнамбулическом упоении, почти прокрикивая эту махровую антисоветчину. А Светлане было совсем нестрашно, хотя, пребывая она в своём обычном состоянии, она бы точно решила, что их немедленно арестуют появившиеся откуда ни возьмись милиционеры. «Наверное, это его собственные стихи, – с нарастающим восторгом думала преподавательница кафедры иностранных языков МГУ. – Какой он необычный человек! Спокойный, надёжный, но и опасный, конечно, притягательно-опасный». Мысли её сейчас походили на сотни воинов, бесконечно штурмующих какую-то старинную крепость и яростно залезающих на высоченные стены. А Саблин продолжал неистовствовать:

Только дудочки, бесы властные,  
Нас, юродивых, не возьмёшь,  
Мы не белые, но не красные —  
Нас салютами не собьёшь.

С толку, стало быть... Сталин – отче ваш.  
Эх, по матери ваших бать.  
Старой песенкой бросьте потчевать —  
Нас приходится принимать.

– Вам понравилось? – наконец успокоившись, спросил новоявленный ночной чтец.

– Вы антисоветчик? – Светлана повернулась к нему и остановилась.

Он прошёл немного дальше и тоже развернулся к ней:

– Хотите на меня донести? – Он снял очки и начал зачем-то протирать стёкла перчатками.

Без очков его лицо выглядело беззащитным.

– Не сегодня. Мне же надо у вас переночевать.

Через секунду оба залиvisto хохотали.

Потом Саблин открыл Свете, что это строки Вадима Делоне, одного из лучших русских поэтов, который сейчас сидит в тюрьме за участие в демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию. Далее он поведал о том, что военная операция против Пражской весны – грандиозное преступление и что даже некоторые лидеры соцстран до сих пор в шоке от такого вероломства.

Саблин постоянно ловил «Голос Америки» и считал всё, что там вещают, истиной в последней инстанции.

Раскладушку Волдемару доставать не понадобилось. Всё произошло так естественно и так понравилось обоим, что утро и он и она встретили с уверенностью, что ближе друг друга у них никого нет.

Он больше не запрещал ей курить.

Три года Светлана прожила как в дыму. В сладком дыму беспредельной любви, который резко горчил при длинных вынужденных разлуках. Тяжелее всего давалось делить постель с мужем. А представлять Волдемара на его месте в момент скудной близости она не в силах была себя заставить. В те дни, когда не виделась с любимым, спасалась от тоски в детях.

Арсений делал фантастические успехи. Даже в ЦМШ, полной музыкантских отпрысков с комплексами гениев, он выделялся.

Когда мама заболела, Светлана была безутешна. И по-настоящему успокоить её удалось только у Волдемара. Он находил такие слова, которые позволяли отвлечься от ужаса онкологии, поверить в то, что излечение возможно. Тогда диагноз «рак» звучал как смертельный приговор без обжалования. Но Саблин вселил в Свету надежду, а она в свою очередь заразила его отца. Особенно вдохновила Свету история Волдемара о том, как превозмог рак Александр Солженицын. (К тому времени он же втянул Свету в своё запретное поклонение автору «Одного дня Ивана Денисовича».) Кто знает, не благодаря ли этой фанатичной уверенности близких в благополучном исходе Мария Владимировна протянула до 1974-го, хотя врачи давали ей не больше полугода.

Светлана не могла представить, что Волдемар вдруг исчезнет, перестанет её любить. Чувство к нему в блаженном упоении заполняло всё её существо. Она часто убеждала его, что пойдёт за ним куда угодно, хоть на край света, хоть босиком по снегу, пусть он только позовёт, но Саблин лишь улыбался, никогда не спрашивая её, как она себе всё это представляет. А один раз, незадолго до рокового дня, мрачновато пошутил, что на краю света бывают морозы минус пятьдесят и в таких условиях цветы любви могут завянуть. Она тогда рассердилась на него, придумала, что он её разлюбил и много чего другого.

Кто же он был такой, врач-реаниматолог Волдемар Саблин? Чем он так привлёк сорокалетнюю женщину, мнившую себя вполне счастливой до встречи с ним, но, только став его возлюбленной, познавшую огромное безграничное счастье?

Наверное, одно физическое желание не удержало бы Светлану около Саблина так долго. По всей вероятности, их отношения ограничились бы одним эпизодом, о котором женщина потом хоть и вспоминала бы с удовольствием, но по большей части жалела, стремясь всеми силами избыть сладко-тяжёлую память греха. Но в ту первую их ночь во Владимире он погрузил её в атмосферу, совсем отличную от той, где она уже долгие годы существовала. Жизнь Саблина была драгоценным покрывалом, сотканным из нищеты, гордости, отчаянной смелости, патологической независимости и неукротимой воли жить так, как хочется самому, а не как позволяют тебе другие.

После того как их тела убедились в необходимости друг друга, для Светланы изменилось всё. Он потянул её за собой. Она не сопротивлялась. Он был моложе на 10 лет. Она не придавала этому никакого значения.

Женщины в сорок лет уже боятся постареть, но ещё верят, что этого не случится.

## 1948

Наблюдая мучения Александра Лапшина и то, как он их сносил, никто не назвал бы его трусом. Но сам он сейчас, в казённой, почти лишённой воздуха, обволакивающей темноте больничной палаты, никем иным себя не считал. Да, он решился на резекцию желудка вопреки предостережению врачей о вполне вероятном летальном исходе, но привёл его под нож хирурга не отчаянный порыв в борьбе за жизнь, а удушающий, липкий, с мелкой тряской и крупным терзанием страх. После того как Людочка призналась, что крадёт для него морфий, и когда ему открылось дикое и страшное на Собачьей площадке, Лапшин несколько дней не выходил из своей комнаты на Зеленоградской, ожидая стука в дверь, почти ничего не ел, только пил воду, слабея до такого обострения чувств, что мог следить, как внутри его всё таяло, исчезало, оставляя резонирующую пустоту, а потом собрал все силы, доковылял до поликлиники и умолил доктора, чтобы его срочно положили на операцию. Пациент был так худ, почти невесом, что врач внял его мольбам, про себя оправдывая себя тем, что выхода, пожалуй, действительно больше нет, хоть это и не выход.

Пока действовал наркоз, он не потерял полностью сознание. И оно сочилось сплошной болью. Не сильной, но бесконечно ровной. Мышцы опали, стёрлись, перестали слушаться. Кто-то иной сочинял в его голове музыку для кларнета и струнных.

Время передвигало гирьки невидимых часов. В какой-то момент его пронзила острая и короткая вспышка: операция кончилась и он выжил.

Мир заново формировался из хаоса.

Весь вчерашний день на соседней койке стонал мужчина. Сёстры называли его между собой майором. И вот постель его пуста, её застилают заново. Из разговоров санитарок он узнал, что майор скончался. Лапшин мысленно простился с ним до скорой встречи на небесах. Думал: если уж такой сильный человек, военный, по всей видимости фронтовик, не выдержал, куда уж мне.

Майор! Майор...

Но мелодия для кларнета, длинная, полнокровная, сочинённая как будто не им, не отпустила, проясняясь всё больше.

Она, как веревочная лестница, по которой он поднимался в спасительные небеса.

Земные небеса.

Дверь открылась. Появилась санитарка. Подошла к нему, присмотрелась и, поняв, что он не спит, осведомилась, не нужно ли ему чего. Ему ничего не было нужно.

За все дни, что он провёл в больнице, его никто не навещал.

## 1985

В прихожей квартиры Норштейнов-Храповицких теснились четыре человека.

«Надо что-то предпринять, – решил Лев Семёнович, – иначе Арсений просто уйдёт».

Норштейн обратился к замершей Светлане тоном подчёркнуто бодрим:

– Ну что, мы так и будем Сенечку здесь, около двери, держать? В ногах-то правды нет. Да и согреться ему надо.

Светлана от голоса отца встрепенулась, сделала два быстрых шага к гардеробу в прихожей, достала из него деревянную вешалку с металлическим крюком и протянула сыну. Потом снова застыла, наблюдая. Арсений снял дублёнку, повесил её на плечики, предварительно засунув в рукав шапку и шарф, потом присел на табуретку и стащил с себя сапоги. Медленно поднял голову, робко прищурился и, глядя в стену, сказал:

– У папы инфаркт. Он здесь. В Москве. На Ленинском. В Бакулевском институте. Его вызывали два дня назад в ЦК партии. Больше ничего не знаю. Известно только, что его обнаружили на Старой площади лежащим на тротуаре без сознания. До или после беседы это произошло, пока не ясно. Вчера утром мне позвонили и сообщили, что состояние тяжёлое. Он пока ещё в реанимации. Я сразу же, как узнал, всё бросил и помчался в Москву. В Бакулевский. К нему, понятно, никого не пускают. Но сказали, что самое страшное позади. Хотя, возможно, они всем родственникам так говорят. Вот теперь решил к вам.

Пока говорил, ни разу не взглянул ни на кого из родных, а те не перебивали.

Не дождавшись от них никакой реакции, Арсений изменился в лице, все его мышцы напряглись, и он поднялся с табуретки, чуть помедлил, потом опять сел. Взял сапог и стал натягивать его.

– Ты что? – удивился Димка.

– Пойду, наверное. Всё я вам рассказал... Вы теперь в курсе... – Голос старшего сына Храповицких дрогнул.

– Нет. Никаких «пойду». Я не пушу тебя. Отдохнёшь – потом вместе поедим к отцу.

– К нему всё равно не пустят. – Арсений закончил с одним сапогом и взялся за второй. – Надо подождать, пока кризис минует.

– Вот и узнаем, когда разрешат его навещать. Оставайся. Куда ты теперь пойдёшь? – Димка сжал губы.

– Света, дай Сене что-нибудь на ноги! Дима, быстро поставь чайник. Человек замёрз... – распорядился Лев Семёнович.

Дима Храповицкий поспешил на кухню.

От волнения и возбуждения он что-то фальшиво напевал себе под нос.

Музыкальный слух, которым природа так щедро наделила старшего из братьев Храповицких, младшего обошёл стороной. Но петь он любил.

Многолетний многослойный крепчайший лёд, сковавший эту семью, как реку, много лет назад, начал чуть слабеть и подтаивать.

– Куда мне проходить? – Арсений с облегчением снял сапоги и пристроил их вглубь обувного ящика.

Мать в это время принесла из комнаты мягкие, из искусственного меха, тапочки с маленькими помпонами.

– Небось, голодный? – Светлана Львовна не сомневалась, что сын ничего не ел сегодня.

– Есть немного. – Арсений осторожно улыбнулся. – Только чай в поезде пил. В Москве утром не особо где поешь. У нас в Ленинграде хоть пирожковые и пышечные есть, которые рано открываются.

«У нас в Ленинграде» – как ножом по стеклу.

– Тогда проходи в гостиную. Мы там теперь завтракаем. Сейчас я всё приготовлю.

Арсений прошёл в самую дальнюю от двери комнату, которая в прошлом служила ему местом для занятий. В ней почти ничего не изменилось. Пианино по-прежнему гордо и независимо стояло у стены. Так гордо, что казалось, оно держит на себе стену и, если его отодвинуть, стена обрушится. Этот инструмент Храповицкие приобрели вскоре после того, как Шостакович предположил в мальце, засмотревшемся в партитуру его Тринадцатой симфонии, недюжинные музыкальные способности. Лев Семёнович настоял на покупке. Два музыканта в доме – два инструмента.

Арсений отметил, что на крышке совсем нет пыли. Рядом с инструментом, как и много лет назад, стоял невысокий книжный шкаф. В нём корешки музыкальных книг и учебников соседствовали с потрёпанными корешками нот.

Он сел за пианино, взял несколько аккордов и тут же снял руки с клавиатуры. К горлу что-то подкатило. Запах нотной пыли, полировки, паркета не забылся.

И всё же правильно ли он сделал, что приехал сюда? Готов ли он к этому? Одобрит ли отец, если выздоровеет, этот его поступок?

– А зачем Олега вызывали в ЦК? Неизвестно? – спросил Лев Семёнович у Арсения, когда все сели за заново накрытый Светланой Львовной стол, сервированный теперь на четыре персоны. Из эмалированного носика чайника уютно шёл пар.

– Он ничего не говорил мне. Сам был удивлён. Смеялся, что действительно началась перестройка, коль и на него внимание обратили. Он ведь уже два года заместитель директора ИРЛИ по науке. Вы, наверное, не знали? – У Арсения чуть дёрнулся левый глаз.

Когда вчера утром в его малюсенькой квартире на Лесном проспекте в Ленинграде раздался безжалостный звонок, а незнакомый голос в трубке спросил его по фамилии, он тут же напрягся в ожидании чего-то неприятного. Так оно и вышло.

Папа!!!

Неслучайно его всю ночь мучили кошмары и он проснулся ни свет ни заря.

Потревоженная Вика озиралась вокруг сонно и недовольно, но, разглядев, что он замер как вкопанный у тумбочки с телефонной трубкой в руках, всполошилась.

После того как Арсений обрушил на неё своё несчастье, она первым делом сбегала на кухню, притащила валерьянки с пустырником и заставила Арсения выпить пахучий настой.

– Что делать? – Он взглянул на свою подругу с надеждой услышать нечто обнадеживающее.

– Как что? Ехать в Москву. И ждать, когда он придёт в себя. Ему, скорее всего, потребуются твоя помощь. У нас в больницах уход – сам знаешь. Не понимаю, о чём тут думать?

– Да, конечно. Ты права. Просто я в себя прийти не могу.

Вика и Арсений познакомились всего полгода назад. Через месяц после знакомства она переехала к нему, толком не спросив его согласия. Он не возражал.

Он поначалу боялся, что она сбежит после того, как ей некуда будет деваться во время его пианистических занятий, но Вика, напротив, получала от них такое удовольствие, что просила обязательно заниматься при ней. Она усаживалась на тахте и замирала, следя за его руками, плечами, спиной, и представляла его на сцене какого-нибудь мирового зала. Однажды она поклялась себе, что заставит его преодолеть страх и вернуться к сольным выступлениям. Один раз девушка завела разговор об этом, но Арсений сразу же нервно пресёк его. Что она в этом понимает?

Вчера Вика почти вытолкнула его из дому, причитая, что нельзя терять времени: надо спешить на вокзал за билетом в Москву. Он никак не мог прийти в себя, и ей пришлось изрядно постараться, чтобы встряхнуть его и заставить действовать.

Арсений больше всего любил Ленинград в такую пору, когда его мало кто мог выносить, – когда улицы и проулки заваливало снегом, который тут же начинал таять, медленно превращаясь в грязную кашу под ногами, когда дома чуть полнели от накопившейся в них влаги, будто жаловались на то болотистое место, где им привелось бытовать, когда воздух накапливал в себе столько тумана, что все очертания смазывались, превращаясь в иллюзию, когда в квартирах почти не гасили свет и это создавало снаружи симфонию отражённых огней. Что-то было во всём этом тягучее и привлекательное, беспристрастная сырая правда, очевидная победа вечного над сиюминутным. Казалось, что с городского холста соскребли всё лишнее, наносное, и он остался влажным и естественным.

Всю прошедшую неделю Арсений наслаждался этой холодновато-слёзной сыростью, её пронзительностью и подлинностью, но, когда он вышел из дому, чтобы отправиться за билетом в Москву, город отвернулся от него.

Холод не бодрил, а враждебно налетал, ветер метил в лицо, а тучи растекались серой слизью.

В до отказа набитом вагоне метро рядом с ним пристроился мужик, от которого пахло кисло и резко. Ни с того ни с сего в туннеле поезд остановился и мучительно долго никуда не двигался в диковатой для метрополитена тишине. Когда он наконец тронулся, то несколько пассажиров едва удержали равновесие, и один из них больно ударил портфелем Арсения по ноге, после чего приторно и неискренне извинился.

Выйдя на «Площади Восстания», он шумно выдохнул, будто до этого ему долго стискивали грудную клетку. И сразу разволновался: вдруг билетов нет? Как тогда быть?

Билет удалось купить быстро, и даже в купейный вагон. Но, к сожалению, только на вечерний поезд. Это его сильно огорчило. Не терпелось как можно скорее добраться до Москвы, убедиться, что отец жив, пообщаться с врачами, выяснить точный диагноз и перспективы выздоровления. А если этих перспектив нет? Но такого не может быть. Зачем ему этот мир без отца?

На всякий случай он заглянул в авиакассy на Невском, но там, как и ожидалось, билетов на сегодня не продавали.

Как скоротать время до отъезда?

Сразу на Лесной, к Вике, к её ровной энергии, к её рассудительности и заботливости, к её мягкости, к её коленям, которые она подбирала к подбородку, когда сидела на диване, возвращаться почему-то не хотелось. Лучше отпустить себя в город, примириться с ним, расслышать его голос, прислушаться к нему.

Надо ли сообщать о состоянии отца тем, кто остался за чертой, жирной и нескончаемой, которую много лет не удавалось ни обойти, ни перепрыгнуть, ни стереть? Почему он вообще об этом думает? Черта останется чертой! Но деду нужно знать. А нужно ли? Ему восемьдесят.

И вот он шёл по Невскому, шуршащему машинами, звенящему трамваями на перекрестках с Садовой и Литейным, шаркающему подошвами, хлопочущему обрывками разговоров. Шёл собранно, глубоко вдыхая. Витрины магазинов отражали зимнюю хмарь.

Мерный шаг всегда успокаивал его.

Но в этот раз ноги вдруг занули, усталость колом терзала поясницу, тревога за отца нарастала.

Арсений свернул на Литейный, довольно долго мёрз на остановке, но всё же дождался трамвая. Он останавливался на Лесном проспекте рядом с его домом.

Вика, оглядев его, потерянного, замёрзшего, сразу отправила в ванну. Он долго стоял под душем. Мягкая питерская вода так ничего и не смыла.

Всё время до отъезда он проклинал себя, что не спросил у позвонившего утром телефон, по которому можно было бы справиться о самочувствии отца. Вика позвонила в справочную, ей продиктовали номер, но там, в далёкой кардиологической Москве, никто не снимал трубку. Арсений попробовал послушать пластинку Скрябина в исполнении его любимого Станислава Нейгауза, но не мог сосредоточиться ни на одном такте.

В нём зарождались сотни траекторий, из которых ему предстояло выбрать одну. Или кому-то предстояло выбрать её за него.

– А где твои вещи? – запоздало встрепенулась Светлана Львовна. – Ты же не так вот, без ничего приехал?

– В камере хранения на Ленинградском вокзале. – Арсений не злоупотреблял сладким, но сейчас конфеты «Мишка на Севере», которые мать насыпала в вазочку, пришлось по вкусу.

– Почему ты там их оставил? – недоумённо и несколько наигранно поинтересовался Лев Семёнович.

Что мог Арсений на это ответить? Что был не уверен, откроют ли ему? Что до последнего момента мялся и уже, будучи у подъезда, всё ещё подумывал развернуться и отправиться к своему приятелю по армейской службе в оркестре Военно-медицинской академии Петьке Севастьянову, которому позвонил вчера из Ленинграда и спросил, можно ли ему у него на несколько дней остановиться. Или что в нём до сих пор жива обида на мать?

– Неохота было тащиться с сумкой сначала в Бакулевский, потом к вам. Неудобно это.

Никто не спросил у него, когда он собирает вещи из камеры хранения забирать.

Вчера Вика долго и рьяно уговаривала его обязательно зайти к матери и попробовать восстановить отношения. Арсений в своё время поделился с ней своей семейной историей. Она поразилась: как можно разрушить такую семью? Чего не бывает! Надо уметь прощать. Она поражалась, что за столько лет никто ничего не предпринял для того, чтобы помириться. Ну а уж теперь, когда Олег Александрович Храповицкий в таком опасном состоянии, все ссоры должны забыться, отойти на второй план. Ни в коем случае нельзя скрывать от второй части семьи случившееся! Они непременно захотят позаботиться об Олеге Александровиче!

Арсения не просто было уговорить на то, в чём он сам ещё сомневался. Перед самым его отъездом они спорили так самозабвенно, что едва не поссорились всерьёз, но так ни в чём друг друга не убедили. Но уже в дверях, после прощальных, чуть холодноватых объятий он успокоил её: если не случится ничего непредвиденного, непременно заглянет к матери, деду и младшему брату.

На Московском вокзале около памятника Ленину на полу жались к постаменту молодые люди с рюкзаками. «Геологи, что ли, куда-то собрались?» – подумал почему-то Арсений.

Арсений приехал заранее. До поезда оставался почти час. Ресторан ещё работал, хотя у официанток был такой вид, будто каждый новый посетитель наносит им личное оскорбление.

Дома он никак не мог заставить себя толком поесть. Кусок не шёл в горло. И теперь проголодался. «В поезде наверняка, кроме чая, ничего не предложат, а вагон-ресторан, скорее всего, будет уже закрыт», – рассудил Арсений.

Пока готовили заказанное им жаркое, он так сильно и нервно теребил и дёргал бахрому на скатерти, что чуть не оторвал несколько ниток.

Довольно частые за последние годы гастрольные поездки приучили мириться с дорожными тяготами, но в этот раз в купе он долго ворочался. Принялся вспоминать известные ему случаи, когда люди после инфарктов восстанавливались и жили дальше припеваючи, не вспоминая о болезни.

Зачем он обещал Вике, что зайдёт туда, где вырос и откуда пришлось уехать не по доброй воле? Почему она вмешивается в это? Разве в силах она представить весь ужас случившегося много лет назад?

Или?..

Поездные колёса бились о рельсы с пугающей неутомимостью.

Несколько лет назад он придумал прекрасный способ разнообразить свою жизнь. Видя привлекательную женщину, он искал в памяти какую-нибудь музыкальную тему, которая подходила бы ей больше всего. Если же знакомству суждено было развиваться до чего-то увлекательного, то он в определённый момент выбрасывал этот козырь. От предложения услышать свой музыкальный портрет мало кто отказывался. Надо сказать, он не мухлевал. Не использовал расхожие, ко всякой почти молоденькой барышне подходящие мелодии. Всегда подбирал пьесу или фрагмент очень ответственно. И вовсе не всякий раз укладывал девушек в постель. Иногда ограничивался просто их восторгами. Сейчас ему вдруг стало стыдно за себя. Почему он так фиглярничал? Зачем так опошлял то, что когда-то было для него свято?

Пару лет назад, когда последний раз виделся в Москве с дедом и играл ему до-мажорную сонату любимейшего старым Норштейном Мясковского, так расстроился из-за одного никак не выходящего, пустяшного в сущности, места, что дал сам себе зарок ничего нового больше не учить. И так уже в памяти всё не удерживается. Новое вытесняет старое. Зачем? То, что не пускает его на сцену, сильнее его. Это наваждение. Как только он помыслит о сольном выступлении, представит себя выходящим на сцену, сразу видит падающую на руки крышку рояля и пальцы непоправимо деревенеют, как всё внутри. Это его проклятье. То, от чего он должен бежать. О чём обязан не думать. Но оно всегда неотвязно с ним.

Какая же всё-таки сволочь эта консерваторская профессура из жюри, которая не дала ему играть тогда на конкурсе дальше первого тура, ссылаясь якобы на заботу о его здоровье! Он бы выдюжил. Действия обезболивающего хватило бы на всю программу.

Это спасло бы его, а возможно, и не только его.

Ведь дома в это время был ад. Бабушка умирала, дед как будто умирал вместе с ней, отец с матерью не замечали друг друга, почти полностью уничтожив то, что люди называют «мы», а шестилетний Димка никак не мог свыкнуться с происходящим и всё спрашивал что-то у отца, у матери, у деда, у бабушки, у брата. И совсем не улыбался.

С консерваторией было покончено. Мириться с предательством педагогов он счёл для себя невозможным. У него был шанс стать первым на том конкурсе Чайковского 1974 года, а в итоге победил Андрей Гаврилов, который ничем не лучше его. В знак протеста Арсений перешёл из консерватории в Институт Гнесиных, где его приняли чутко. На первом зимнем экзамене он отыграл изумительно. Сломанные косточки на пальце хоть и срослись не совсем так, как надо, но это ни на йоту не сказалось на качестве исполнения. Он всё чаще занимался не дома, а в институте по вечерам. Домашняя обстановка не располагала к сосредоточению.

Через четыре года опять планировался конкурс Чайковского. А вдруг? Конечно, неконсерваторцев туда допускают крайне редко. Однако бывают же исключения.

Во время отчётного концерта их класса в Большом зале института случилось непоправимое, проглотившее все его надежды. Когда он поднял руки к инструменту и приготовился взять первые звуки Четвёртой шопеновской баллады, его настигло видение: он поднимает крышку правой рукой, а она падает ему на левую, производя хлюпающий хруст костей. Там, где он находился в данный момент, за инструментом, его как будто не было, всё его существо переносилось в тот ужасный день перед первым туром того проклятого конкурса. А внимающая и ждущая музыки публика превратилась во враждебное полчище.

Он, как во сне, поднялся и под изумлённый гул ушёл за кулисы.

Невозможность, несовместимость, бессилие.

Немота!

Ад!

С этим он больше не справится.

Как ему было стыдно перед профессором Бошняковичем! Тот так надеялся на него! Так поддерживал! Столько вкладывал! И что?

Теперь он, Арсений Храповицкий, концертмейстер Ленинградской филармонии. Выступает с вокалистами и весьма востребован в этом качестве.

Когда аккомпанируешь, страх исчезает. Крышка не падает, поднимается над струнами как парус. Солист защищает тебя, вызывает огонь на себя.

А стоит только помыслить, что он на сцене один, внутри всё словно заливается бетоном и этот бетон в мгновение достигает кончиков пальцев.

А если на сцене поставить не рояль, а пианино? В каком-нибудь малюсеньком зальчике? Нет. Не помогает. Крышка существует не в реальности, а в его голове.

Милый дед! Он, конечно, ещё верит, что всё исправимо и что ему ещё доведётся услышать игру Арсения с большой сцены.

Давно не болтали с ним по телефону. Последний раз он сказал, что мать вышла на пенсию и теперь всё время дома. А говорить они могли, только если в квартире на Огарёва никого не было! Дедушка! Ему-то за что всё это? Может, повидаться в Москве только с ним? Как-нибудь выманить его из дому?

Эх, Димка вырос, наверное. Помнит ли он своего старшего брата? Арсений никогда не спрашивал об этом у деда.

Переворот на другой бок ничего не изменил. Вряд ли скоро удастся уснуть. А отец сейчас лежит на жёсткой казённой койке, один, в какой-нибудь ужасной больничной одежде. Ему наверняка холодно. В сознании ли он?

Перед самой Москвой он куда-то провалился. И в этом тёмном провале было тяжело дышать, что-то цеплялось то за руки, то за ноги.

## 1948

Майор МГБ Аполлинарий Отпевалов очень любил жизнь. Но любовь эта не была слепа. Его гедонизм отличался избирательностью. Возможность влиять на судьбы людей, изменять натуры, внедряться в психику, играть чувствами, давать и отнимать у них надежду уже не будоражили, как раньше. Больше его заводило другое: он считал себя человеком исключительно удавшимся и каждым своим житейским движением любовался, иногда тайно, а то и явно. Он – из избранной касты. И никогда его не занесёт в стан тех, кем помыкают, кто не более чем фигуры под руками и мозгами гроссмейстеров. Таких, как он.

Он ликовал, выходя из большого серого ведомственного дома МГБ в начале Покровского бульвара, зная, что некоторых его обитателей скоро уведут отсюда под конвоем; он преисполнялся гордости, заходя в свой кабинет на Лубянке, будучи уверенным, что в нём сходятся концы многих людских судеб и только у него есть право ими управлять; ему нравилось быть душой компании сослуживцев и в то же время втайне иметь их жён; он с образцовым лицемерием посещал концерты советской музыки и видел перед собой не музыкантов, а их досье, при этом размышляя над тем, как эффективней использовать тот конфуз, что еврейчик Лапшин оказался не в том месте и не в то время и теперь едва жив от страха; он восторгался тем, как скрипит перо по бумаге, когда он пишет отчёты начальству, он был удовлетворён тем, как пахнут его жена и сын Вениамин, в этом году поступивший учиться на врача.

Но та операция, которую он сейчас разрабатывал, доставляла ему самое большое наслаждение. Он полагал, что она может войти в историю спецслужб и её будут изучать в специальных чекистских школах как идеальный пример использования сложившихся обстоятельств на пользу общему делу. Конечно, композитор немного спутал карты, но он уже придумал, как это использовать. Среди музыкантов столько агентов и осведомителей, что они легко провернут с Лапшиным всё, что им будет велено. А тот будет молчать. Таким легче терпеть и страдать, чем рисковать. Ведь может быть хуже, уверяют они себя. И не только им может быть хуже. Это благородство? Или трусость. Интеллигенты на такие вопросы отвечать не любят. Хотя их никто и особо не спрашивает. Интеллигенты нужны для ассортимента.

Абакумов будет доволен. Главное – только всё довести до конца самому, никого не подключая. Операция строгой секретности.

Все исполняют свои роли. Он их им распишет до тонкостей. Но они ни на секунду не усомнятся, что действуют сами, исходя из своих побуждений, желаний, рассуждений.

Хорошо, что композитор после операции выжил. Для его замыслов нужны живые. Про умерших, особенно по его вине, он забывал сразу. Покойники мешают любить жизнь.

## 1985

Каждому из четверых сидящих за столом в гостиной на улице Огарёва было что скрывать друг от друга. Светлане – свою давнюю, так много изменившую в её жизни связь с Волдемаром Саблиным; Льву Семёновичу – непрекратившееся общение со старшим внуком и зятем; Димке – свой нарастающий страх оттого, что Арсений случайно встретится с Аглаей Динской, которая с девочек влюблена в него и за эти годы, очевидно, его не забыла; Арсению – знание того, что причина катастрофы их семьи вовсе не в том, что отец подписал то письмо против Сахарова и Солженицына.

Если бы сейчас с ними рядом сидел Олег Храповицкий, он, пожалуй, претендовал бы на титул того единственного, кому нечего таить.

Но отец сейчас лежал после инфаркта в реанимации Бакулевского института. Без него семья не восстанавливалась. Не хватало последнего фрагмента пазла, дающего наконец возможность разглядеть, что задумывалось изобразить.

– Поди поспи. У тебя глаза красные. Я постелю тебе у себя... – сказала Светлана Львовна, глядя на бледного и уставшего старшего сына.

Арсений согласно кивнул, поскольку сон уже не мог больше ждать и наступал из тёмной своей глубины всё грозней и настойчивей.

«У себя», как понял Арсений, означало в бывшей супружеской спальне мужа и жены Храповицких.

– Дать тебе пижаму?

– Спасибо. Не надо.

Как бы люди ни бегали от себя, сон всё равно достигнет их.

Арсений заснул почти сразу же.

Оставшаяся бодрствовать троица принялась вполголоса обсуждать происшедшее.

## Часть третья

1948

Сначала Шура Лапшин не надеялся выжить. Потом не мог представить, как он будет жить с третью желудка. Затем не переставал удивляться, что на смертном почти одре обрёл женщину всей своей жизни. Жизнь его после операции так сильно отличалась от прежней, что он никак не предполагал, что 1949 год он встретит с теми людьми, с которыми не собирался не то чтобы праздновать Новое Годиье, но и когда-либо видеться. Ведь все они несли на себе коллективный отпечаток его беды, которую он всеми силами пытался избыть.

И тем не менее вечером 31 декабря 1948 года он шёл по небрежно хрустящему снегу к хорошо знакомому дому в Борисоглебском переулке. Таня Кулисова, на которой Лапшин собирался жениться, держала его под руку, а рядом с ним семенил изгнанный, как и он сам, из консерватории за еврейское происхождение Шнеерович.

О том, что творится у Людочки Гудковой, Лапшину пересказывала Таня, продолжавшая время от времени бывать у приятельницы. Она передавала ему от всех приветы, щебетала, что его очень ждут, что все рады его выздоровлению, что без него компания лишилась чего-то остро необходимого, но Шура, ссылаясь на слабость или ещё на что-нибудь, отклонял любые намёки на своё возможное появление в Борисоглебском.

Посвятить Танечку в истинную причину своего нежелания приходить к Гудковой Шура, разумеется, не мог.

Таня особо не настаивала на том, чтобы Лапшин принял приглашение. Врач рекомендовал после операции как можно дольше поддерживать домашний режим и не выходить без лишней надобности из дому.

Их любовь началась, когда Шуринька под звучащую в голове собственную музыку для кларнета и струнных боролся со смертью. Борьба не сулила успеха. С каждым часом он слабел и отчаивался всё больше. Силы иссякли, перед глазами всё плавало в вязком и покалывающем тумане, к горлу ударами подкатывала кровь – с каждым ударом всё выше и выше. Он не способен был даже определить, какой идёт день после операции: второй, третий, четвёртый.

Всё время билась одна мысль: надо как-то успеть сообщить, кто доносчица. Бояться за себя уже незачем. Всё равно он умирает. Но другие-то остаются жить. Надо постараться уберечь их от страшного. Ведь всё, что они обсуждают за столом, о чём шутят, кого ругают, на кого намекают, становится известно органам. И органы, само собой, делают выводы.

Но как это устроить? Попросить медсестру или кого-то из персонала передать записку Шнееровичу? А он уже с его хитростью найдёт способ дать ей ход. Но это опасно. Записку, скорей всего, прочтут, а потом отнесут прямиком на Лубянку. В больницах у нас работают бдительные люди. Как и во всех других местах.

Лубянка...

Никто не догадывается, что он в больнице. А значит, никто его не навестит.

Почему-то вспомнил, как то ли Шнеерович, то ли кто-то ещё рассказывал ему, как Генрих Нейгауз, просидевший в начале войны на Лубянке почти год, потом шутил, что проводил время в отеле «Лубянка», выговаривая «лю» на французский манер.

Нерешительно скрипнула дверь. Лапшин сквозь гнетущий морок отметил, что медсёстры обычно входят по-хозяйски, а нынешний вошедший деликатничает. Но поворачивать голову не стал. Какая ему разница, кто там! Шуринька в измождении прикрыл глаза. Открыл только тогда, когда чьё-то дыхание приблизилось к нему непривычно и необъяснимо близко.

Не сразу признал, кто перед ним. Таня Кулисова! Отчего она здесь? Что ей нужно? И как хорошо, что она пришла.

Их взгляды уткнулись друг в друга и замерли. Наверное, то были решающие секунды, привязавшие их друг к другу навсегда.

Таня, как выяснилось, проявила недюжинное упорство в его розысках. Всё это время она жгуче беспокоилась о нём. Её так обескуражили его глаза, когда они виделись у Гудковой последний раз, что в них она прочитала мольбу о помощи. Потом неотвязно думала о нём, переживала, что-то подсказывало о необходимости действовать, и в конце концов поехала к нему на Зеленоградскую.

Долго стучала в дверь, звала его, но никто не открыл. Она расспросила соседей, нашла адрес квартирной хозяйки, отправилась к ней с расспросами, та толком ничего прояснить не могла, но вспомнила, что однажды, когда она заходила к Лапшину за оплатой, у него был врач. Звали врача Пётр Васильевич. В ближайшей к жилищу Лапшина поликлинике Пётр Васильевич нашёлся быстро. Он долго и подозрительно расспрашивал Таню, кем ей Лапшин приходится, пока той не удалось убедить, что она действительно его знакомая. Пётр Васильевич направил её в больницу, где лежал Шура, вялым тоном сообщив, что на операции настоял пациент и он никакой ответственности за это не несёт. Но уж если тамошний хирург осмелился оперировать, значит шанс на благополучный исход есть.

Она пробыла в больнице до вечера. Преобразила пространство вокруг него. Напитала воздух невидимым целебным эликсиром.

Она вступила с его болезнью в схватку.

Смерть предпочла отступить.

К следующему утру боль из резкой превратилась в давящую. Лечащий врач обрадовался этому, сказав, что налицо симптомы восстановления организма после операции.

Но Лапшин не сомневался, что такая перемена случилась только из-за Танечки. Девушка выдернула его из темноты, когда он уже почти полностью погрузился в неё.

С её чудесным появлением его покинул страх, в нём поселилось нечто способное его пересилить, побуждающее не бежать от обстоятельств, а встречать их таковыми, какие они есть.

Через неделю после первого визита Таня принесла ему в палату нотную бумагу и карандаш, и он начал записывать первую часть кларнетового квинтета. То, что сочинялось в голове, не вполне удовлетворило, требовалась более тщательная проработка мотивов, и Шуринька увлёкся.

Мысль о необходимости немедленно вывести на чистую воду осведомителя МГБ отпала.

Ему теперь есть что терять.

Вскоре его выписали.

Таня переехала к нему на Зеленоградскую. Они стали парой без особых романтических обстоятельств, без признаний, ухаживаний и букетов. Их связывало нечто большее, чем просто влечение. Их связывала обретенная человеческая жизнь и победа над неизбежным.

Шуринька очень скучал по консерватории и, чуть оправившись, собрался туда. Врач не рекомендовал спешить с дальними выездами из дому, но жёлтое здание на улице Герцена, окружённое полуколоннами, портиками, водосточными трубами, щебетом птиц и студентов, манило. Да и больничные листы с медсправками в бухгалтерию сдать бы надо.

Немного волновался. Хотел показать рукопись первой части квинтета тогдашнему ректору Шебалину. Тот благоволил ему. Именно по его инициативе Лапшина взяли преподавать.

Только переступив порог консерватории, Шуринька необъяснимо занервничал. Сначала он не находил подтверждения своим тревогам, но после того, как узнал у знакомой преподавательницы, что, пока он отсутствовал, Виссариона Яковлевича Шебалина на посту ректора

сменил Александр Свешников, утвердился в том, что скоро в этих стенах многое изменится. Шуринька собирался найти Шебалина и спросить, что случилось. Но на кафедре композиции ответили, что он заболел.

Лапшин расстроился.

Закружилась голова. Так нехорошо, всерьёз закружилась, с дурнотой и перехватыванием дыхания.

Шуринька привалился к стене широкого коридора, чтобы удержать равновесие и переждать приступ. Во что-то больно упёрся лопатками. Не зря врачи остерегали его от излишней ретивости. Дурак он, что послушался. Лапшин подождал, когда станет получше, и потом оторвался от стены. Обернувшись, увидел, что чуть не своротил консерваторскую информационную доску. Сразу поставил на пол портфель и взялся торопливо её поправлять. Почти механически пригляделся к ней.

На одной её стороне висело расписание вступительных экзаменов, которые пару дней назад начались, на другой – одиноко серели столбцы газеты «Правда» с постановлением об опере Вано Мурадели «Великая дружба». Помимо Мурадели, в постановлении громились Шостакович, Прокофьев, любимый учитель Лапшина Мясковский. Как Лапшин помнил, повесили эту вырезку здесь ещё в феврале, но никогда он не наблюдал около неё скопления народа.

Советская интеллигенция в той части, что избежала ГУЛАГа, хоть и была на плохом счету у партии большевиков, давно реагировала на такие выходки власти со смиренным безразличием, напяливая на себя маски тяжко провинившихся и немедленно готовых к исправлению. Некоторые даже не теряли чувства юмора. Так, Лапшин сам слышал, как Мясковский успокаивал уволенного из консерватории с негласной формулировкой «адвокат уродства» музыковеда Игоря Бэлзу следующим образом: «Вы, милейший Игорь, не печальтесь. Вы-то хоть адвокат, а мы уродство».

«Надо дойти до бухгалтерии. Отдать им документы из больницы и выяснить, когда можно будет получить зарплату за два месяца, – вернул себя к действительности Шуринька. – Свешников – ректор. Как это дико! Чем он лучше Шебалина?»

Не успел он сделать несколько шагов, как кто-то вцепился ему в руку. Незнакомая женщина, в тёмно-синем пиджаке и в серой юбке, с пепельными волосами и очень сухим, в еле заметных чешуйках лицом, неожиданно прикрикнула на него:

– Вы почему ещё не на собрании? Ишь ты! Собрание идёт, а он тут мечтает. Вы вообще что здесь прохлаждаетесь? Вы кто?

– Александр Лапшин, преподаватель инструментовки, музлитературы и чтения партитур. Сейчас болен, – смущённый таким напором, растерянно и неуклюже представился Шуринька.

– Болеете? Что-то на больного вы не похожи. Ну-ка марш в партком! И чтоб тихо зашёл, без шума. А то выведут. Болеет он! Все на собрании, а он болеет.

Лапшин, подчинившись грубой воле, пошёл в противоположный конец коридора. Так тихо и спокойно, уговаривая себя не бежать, уходят люди от случайно встреченных агрессивных собак, каждую секунду ожидая, что за ними погонятся с зычным лаем и вцепятся в ногу или в руку.

В зале парткома Лапшин заметил много знакомых. Это его обрадовало. Правда, несколько удивило, что сидят они в последних рядах с одинаково понурым видом. И Шнеерович был здесь. Лапшин попытался привлечь его внимание, но, вспомнив угрозы тётки с сухим лицом, передумал и сел на свободное место.

Выступал какой-то человек, с громким, на украинский манер выговором и причёской, напоминающей причёску Гитлера на карикатурах Кукрыниксов.

Оратор половину своей речи ледяным тоном зачитывал фамилии. Много фамилий. Списки неблагонадёжных.

В них те, кто замечен в пропаганде чуждых космополитических ценностей, идолопоклонстве перед западной музыкой, потворстве осуждённым партией музыкальным формалистам, – одним словом, те, с кем Московской государственной консерватории больше не по пути. В одном из зачитываемых перечней Лапшин услышал свою фамилию. Почему-то пронеслось в голове: что бы я сказал друзьям, если бы меня в эти списки не занесли? Потом ухнуло предчувствие катастрофы. На что теперь жить? Ведь он же с недавних пор не один.

С нескрываемым наслаждением выступающий доносил до аудитории то, как космополитически настроенная группа музыкантов пыталась внедрить в умы студенческой молодёжи губительную буржуазную компоненту. Так и произнёс: «губительную буржуазную компоненту».

– Эти опасные подлецы делали всё, чтобы истребить музыкальные гены народного фольклора из советской музыкальной культуры. Но партия бдительно предугадала и раскрыла их коварные происки, – гремело с трибуны.

Лапшин продержался полчаса. Когда ускользнул, сборище ещё продолжалось.

С трудом сдержался от рвоты.

Мерзость неслыханная.

Лучше б он не приходил сегодня сюда.

Улица Герцена распалилась от солнца до состояния враждебности ко всему живому. Потные прохожие жались к стенам домов в поисках хоть какой-то тени, но почти не находили её.

Гадость всего, что он только что услышал, налипла на его существо почти физически и мешала крови нормально циркулировать по венам и артериям. Поэтому она то приливалась к голове, то вдруг отливала куда-то к ногам так, что хотелось повалиться на асфальт и никогда больше не подниматься.

Неприятный, но уверенный в себе голос затараторил в нём: «Тебе нужен укол, наверняка у Людмилы ещё осталось немного морфия, наверняка осталось. Она тебя примет. И поможет!»

И он, ведомый этим голосом и желанием забыться, направился по улице Герцена вверх.

Если Люды нет дома, он подождёт, покараулит её во дворе.

Или её отсутствие – спасение?

На Зеленоградской – Таня. Она поверила в тебя, а ты...

Давно не действующая, без креста церковь между улицей Герцена и только что названной именем артиста Василия Качалова Малой Никитской съедала солнечные лучи, не отражая их от купола.

Воздух тяжелел, горячел, давил.

Но когда Лапшин повернул с улицы Воровского на Борисоглебский, подул ветерок. И хоть он не был прохладным, Шуриньку он всё же чуть отрезвил.

Ему нельзя к Людмиле. Там он не совладает с собой. Там вечно для него будет звучать голос, который он слышал на Собачьей площадке.

Но куда-то сейчас надо деться.

Внезапно его осенило: пойду к Льву Семёновичу. Он хороший человек. Работай он в консерватории, его бы сейчас, несомненно, тоже бы выгнали за происхождение. Но он с величайшим скепсисом относится к любой службе.

Шуринька дошёл до прохода к дому, где жили Норштейны, постоял немного у водосточной трубы, разглядел древнюю, частично ушедшую в землю тумбу, к которой, видимо, в старое время привязывали лошадей, и удивился, как он раньше её тут не замечал. Посмотрел под ноги. Его тень сейчас была совсем маленькой.

Выкурил папиросу.

Бросил взгляд на другую сторону переулка. До Гудковой метров сто, не более. Дома она или на дежурстве? Удалось ей скрыть пропажу морфия из больницы? Ответы не находились,

только усиливая смятение. Нет. Он туда не зайдёт! Сейчас туда нет пути. Он выкинул папиросу и углубился внутрь двора.

А там кипела жизнь!

Нутряная.

Московская.

Голый по пояс хилый дед что-то мастерил и периодически матерился. Две женщины на натянутых между двумя небольшими сараями верёвках развешивали бельё. Два подростка пинали ногами сдутый мяч. У подъезда, сидя на табурете, с безразличным ко всему видом смолил мужик в тельняшке и с татуировками на кистях рук. Он недобро осмотрел Лапшина, но ничего не сказал.

Норштейн обрадовался приятелю. Его женщины сегодня отсутствовали – уехали гостить на дачу к сослуживице Марии Владимировны.

Два композитора уселись около крошечного обеденного стола. Чай Лев Семёнович заварил крепкий.

– Не бойтесь, Саша, в жару горячего чая. В Средней Азии его пьют, именно когда очень жарко. Считается, что горячий чай быстрее утоляет жажду, чем холодное питьё.

– Откуда вы знаете? Вы там бывали?

– Мне рассказывал Вайнберг. Он там жил в эвакуации.

– Ясно. Интересно, – вздохнул Шура.

– Правда, они при этом сидят в халатах. Это обязательное условие. Халатов у меня, увы, нет. – Норштейн коротко посмеялся. – Есть ещё сушки...

– От сушек воздержусь. У меня теперь от желудка только треть осталась. Для сушек она не предназначена. – Лапшин обжигая губы, глотнул из чашки с широким верхом.

– Что вы говорите? Как же так? Это из-за вашей язвы?

– Меня прооперировали недавно. Другого выхода не было. Резекция желудка.

Лапшин посвятил товарища во все свои горести, начиная от срочной госпитализации и кончая муками жизни без двух третей желудка. Закончил он скорбный монолог сегодняшним консерваторским собранием, в результате которого он не только подвергся вместе с другими музыкантами публичному унижению, но и лишился средств к существованию.

Про больницу, операцию и последующие мучения Норштейн выслушал с кислым видом, который можно было истолковать как сочувствие, но и как досаду, что приходится внимать таким грустным речам и поневоле портить себе настроение. Но когда Лапшин дошёл до консерваторских событий, Лев Семёнович оживился, будто услышал нечто обнадеживающее:

– Вы не должны расстраиваться, Саша. Сейчас в таком положении многие. Слава богу, никого не арестовывают. Говорят, Хренников делает всё, чтобы против композиторов не начались репрессии. Понимаю ваше отчаяние. Но мы что-нибудь придумаем. Главное сейчас – это ваше здоровье. Я обещаю, завтра зайду в Гнесинку и попробую застать там Елену Фабиановну. Посоветуюсь с ней. Она придумает, как вам помочь не остаться без куска хлеба. А сейчас пейте чай. У меня есть, кстати, водка. Вам, наверное, нельзя? А я, пожалуй, выпью...

Лапшин тоже выпил рюмку, хоть и не хотел. Засиделись они тогда допоздна. О чём только не говорили! Даже до Канта с Гегелем добрались.

Знай тогда Норштейн и Лапшин, что почти во всех комнатах дома на Борисоглебском стояли прослушивающие устройства (органы неусыпно следили за военным прокурором Хорошко), посмеялись бы над тем, что «сидящих на ушах» их разговор удивил бы обилием незнакомых слов.

Лев Семёнович не обманул. Он действительно походатайствовал перед Еленой Фабиановной. Но устроить Лапшина на работу в Гнесинку не получилось. Партия сурово следила за тем, чтобы провинившиеся в идолопоклонничестве перед Западом никуда больше не просочились. Михаил Гнесин, брат Елены Фабиановы, также участвовал в устройстве судьбы

Шуриньки. Помогала и высоко ценившая музыку Лапшина известная пианистка Юдина. Результат у столь уважаемых и влиятельных в музыкальном мире людей вышел смехотворным, но всё же спасительным. Лапшина вместе со Шнееровичем, которого также никуда не брали в силу происхождения, пристроили аккомпанировать кинохронике в разных московских кино-театрах. Оплачивалось это весьма сносно.

Татьяна продолжала, хоть и намного реже, бывать у Гудковой в Борисоглебском. Там всё, кажется, оставалось по-прежнему. Только у Людочки появился друг-иностранец, вроде бы из французского посольства.

Лапшин всё время ждал, что его исключат из Союза композиторов, но пока его не трогали. Наоборот, Михаил Фабианович, пользующийся большим влиянием, включил его в число тех, кто получал право представить на конкурс сочинение о Сталине. Из произведений, прошедших отбор, планировалось составить программу пленума Союза композиторов, посвящённого юбилею великого вождя народов.

Шуринька постепенно привыкал к жизни «на треть желудка».

После того консерваторского собрания ни разу у него не возникло мысли зайти к Людочке и попросить её поставить ему укол.

Зависимость от морфия забывалась.

Но никак не отпускало изнуряющее беспокойство, вычислили ли его, убегающего с Собачьей площадки?

В начале декабря он сумел уверить себя, что если его тогда опознали, то он уже давно бы по каким-то признакам это почувствовал. Он был настолько беззащитен, что с ним могли бы сотворить что угодно. Однако с ним ничего фатального не происходило. Да, его вышибли из консерватории, но, очевидно, это следствие кампании, развязанной против многих композиторов. В этом не просматривалось никакого персонального акта против него.

Скорей всего, его приняли тогда за случайного прохожего. Ведь было темно. И бежал он быстро. Хорошо бы это так и было!

Но пленум Союза композиторов и последовавший за ним секретариат доказали, что рассчитывать на благополучный исход не приходится. Скорей всего, всё это время на его жизнь кто-то искусно влиял, наблюдал за ним, направлял его, создавал для него те или иные ситуации, просто он этого не замечал. В отвратительных душераздирающих снах, близко граничащих с явью, Шуринька представлял себя бескрылой мухой, замершей на белой поверхности и знающей, что тот, кто занёс над ней мухобойку, никуда не торопится, но своё решение прихлопнуть её никогда не изменит.

Поначалу с посвящённой Сталину «Приветственной кантатой» на стихи Сергея Острового всё складывалось как нельзя лучше. Лапшин исполнял её на фортепиано перед авторитетной комиссией Союза композиторов, и произведение получило высокую оценку. Однако потом всё изменилось. В докладе на секретариате, проходившем по итогам пленума, Тихон Хренников сказал буквально следующее:

– В ряде случаев, как я уже отметил выше, мы можем говорить и о ПРЯМЫХ НЕУДАЧАХ, ТВОРЧЕСКИХ СРЫВАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. УМЕСТЕН ВОПРОС – КАКИМ ОБРАЗОМ ПОПАЛИ ТАКИЕ СОЧИНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНЦЕРТОВ ПЛЕНУМА? Здесь я должен принять вину на секретариат и на себя лично за то, что в предварительном ознакомлении со множеством сочинений для отбора на пленум мы допустили ряд ошибок, не сумев в исполнении на фортепиано сделать правильную оценку качества некоторых произведений. Так, для исполнения на пленуме была отобрана «Приветственная кантата» композитора Лапшина, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОЛОДНОЕ И ЛОЖНОЕ ПО СВОИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБРАЗАМ, КРАЙНЕ СУМБУРНОЕ, ШУМНОЕ

**И БЕСПОМОЩНОЕ.** Автор не отнёсся с должной ответственностью к теме своего сочинения, не произвёл предварительной глубокой работы над отбором музыкальных средств, над определением стиля сочинения, над организацией материала.

Слушая всё это, Шуринька прозревал. Зря он надеялся, что его оставят в покое. Такая перемена к его кантате может быть связана только с чьим-то вмешательством: кто-то устами Хренникова показывает ему его настоящее место, кто-то даёт ему сигнал, что его панический побег с Собачьей площадки не тайна, ему придётся теперь смириться с ощущением чьих-то беспощадных рук на горле, что ему надлежит мучительно молчать о том, что ему открылось в тот вечер, если хочет уцелеть.

Хорошо ещё, Михаил Гнесин встал на его защиту. Иначе всё могло бы дойти до исключения из Союза прямо на секретариате.

К Гнесиным нельзя было не прислушаться.

Их семейству благоволил сам Иосиф Виссарионович.

Когда Людочка через Татьяну передала приглашение встретиться 1949 год, Лапшин, к удивлению своей возлюбленной, не отказался. Он решил, что пора взглянуть в глаза той, от кого исходит главная для него опасность. И тогда посмотрим, кто отведёт взгляд первым.

## 1985

Олег Александрович Храповицкий нашёл наконец удобное положение на больничной койке и теперь сконцентрировался на том, чтобы дышать ровно и глубоко. Из медленного ещё сознания доносилось: «Если начну ворочаться, жгучая боль в центре груди вернётся и задушит. Из ватного тумана всплывали неповоротливые мысли: наверное, Арсению уже сообщили? И если это так, он наверняка уже в Москве»

Чудесный, заботливый сын! Что бы он делал все эти годы, если бы Арсений не перебрался с ним в Питер! Арсений многим пожертвовал ради него. А что совершил он? Чем отплатил? Достаточно ли этого?

Да уж. Такие размышления не для третьего дня после инфаркта. Последнее, что он помнил из той жизни, которую болезнь, очевидно, теперь разделит надвое, – это по-зимнему приземистый вид на Москву с небольшого холма, на котором располагалось несколько архитектурно-игривое здание ЦК партии. Он оглядывал крыши, стены, перспективы, видел начало улицы Степана Разина. Там, чуть дальше, район, где снимал комнату в юности. До женитьбы.

Думал: надо как-то успокоиться, привести в порядок мысли, разработать хоть какой-то план. Но не пришлось. Что-то неподъёмное возникло в груди и потащило с неодолимой силой в надвигающуюся гулкую темноту.

Принимал его на Старой площади чиновник из сектора культуры ЦК по фамилии Чижиков. Важный, полный, почти без шеи, с крылатым подбородком, с безвольными, как будто с трудом удерживающимися на лице губами. Разговор получился с недомолвками, не конкретный, но к чему-то неуловимо обязывающий Олега Александровича, при этом каждое слово Чижикова было липким, как растаявшая карамелька. Чижиков сперва долго разглагольствовал о значимости апрельского пленума ЦК партии, о том, что советская культура должна чутко ответить на новые вызовы и что литературная наука не может остаться в стороне от всего этого. Олег Храповицкий изображал, что внимательно слушает. Он давно уже не доверял энтузиазму верхов по поводу обновления общества. Ему хватило восторгов от хрущёвской оттепели, которая кончилась не пойми чем. Как объяснить этому человеку, что литературная наука не откликается на вызовы, она изучает то, что уже есть и непреложно. И никак иначе. Неужели в ЦК собрались такие дилетанты? Подобные спонтанно возникающие вопросы он уже много лет давил в себе, считая бессмысленными, а какой-либо протест против системы ненужным и опасным. Впрочем, большой пользы он не видел и в прилежном встраивании в предлагаемые властью координаты. Однажды он, искренне поверив, что Сахаров и Солженицын – враги, с энтузиазмом поддержал официальную точку зрения. И чем это кончилось? Если не в состоянии контролировать последствия своих действий, лучше вообще никуда не лезть.

«Не для этого же он меня вызывал? Не для того, чтобы в верности линии партии убеждать? Тут кроется что-то ещё», – опасался Олег Александрович. Когда монолог Чижикова достиг кульминации, Храповицкий удивился: голос номенклатурщика вдруг зазвучал неестественно, будто из капсулы. Но это ощущение быстро прошло, и он не придал этому значения. Только ослабил начавший сдавливать шею галстук.

Наконец Чижиков перешёл к самому главному. По мнению ЦК, директор ИРЛИ Андрей Иезуитов трактует советское литературоведение слишком догматично. Уже поступило достаточно много сигналов от сотрудников, вскрывающих случаи подавления Иезуитовым прогрессивных тенденций. Похоже, товарищ директор попросту не желает перестраиваться.

Олегу Храповицкому потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Что за бред! Иезуитов – кабинетный учёный, интеллигент. Что он там может давить? И какие ещё сигналы? Кому это нужно? Но ЦК партии – слишком серьёзное место для сомнений частного лица.

– Что вы об этом думаете? – Чижиков неожиданно придал своему тону благорасположение, словно не призывал к ответу, а советовался.

Храповицкий разнервничался. Что он об этом думает? Ничего не думает. О чём думать? Какие-то чудеса! Сигналы. Что от него-то надо?

Видя замешательство собеседника, Чижиков продолжил:

– В скором времени в одной из ленинградских газет может появиться письмо сотрудников института о необходимости, скажем так, «свежего ветра» в руководстве ИРЛИ.

При слове «письмо» Олег Александрович похолодел. Призрак ужасного 1973 года вылез из-за спины Чижикова, поднялся к потолку и оттуда, мерзко кривляясь, делал учёному пугающие знаки. Он с трудом выдал из себя:

– Всё, что вы говорите, для меня, честно говоря, в новинку. Мне надо всё это проанализировать.

– Что ж вы, заместитель директора, а не видите того, что происходит у вас под носом? Поздно уже анализировать. Надо действовать.

– Я больше занимаюсь научной частью. На политику времени не хватает. – Он знал, что это была заведомая глупость, но больше ничего в голову не шло. Не молчать же!

– Плохо, очень плохо. Без политики у нас никуда. Политическая близорукость при вашей должности непозволительна. Не забывайте об этом. – Чижиков что-то быстро записал красивой импортной ручкой на листе, который лежал перед ним. – Ну что же. Раз, как вы сами говорите, вам нужно время, чтобы всё проанализировать, – мы вам это время дадим. Но учтите: его не так много. Вот вам мой прямой телефон. Звоните в любое время, если возникнут соображения.

Чижиков дал понять, что разговор окончен.

Некоторое время после того, как вышел из кабинета Чижикова, Храповицкий совершал все действия автоматически, не вдумываясь. Спустился в бесшумнодвигающемся лифте, надел тяжёлую куртку, замотал горло мохеровым шарфом, пристроил на голове почему-то показавшуюся тесноватой шапку-ушанку, проверил, с ним ли его очки для чтения.

«Мне надо всё это проанализировать». Какая глупость! Чего уж тут анализировать! Всё ясно до кристальной жути. В ЦК решили убрать Иезуитова и ищут для этого руки. Этими руками будет предложено стать ему. Андрей Николаевич! Добрейший, тонкий человек. Только два года, как назначен директором. До этого являлся замом. Именно на его место и пришёл Храповицкий. Иезуитов явно симпатизировал ему, ценил как исследователя.

Что делать? Куда себя деть? Его обратный поезд только вечером. Надо было выгулять, выходить, вытоптать из себя вялость, нерешительность и страх. Как, интересно, теперь выглядит дом, где он снимал квартиру в аспирантские годы?

Вспомнилось, как он в день похорон Сталина торопился в ИМЛИ, наивно полагая, что ему разрешат там поработать, и увидел на другой стороне улицы Светлану, насмешливо разглядывавшую его.

Но инфаркт не дал ему вспомнить всё до конца. Подхватил и увёл в темноту.

Когда он очнулся, то почему-то решил, что всё ещё в кабинете Чижикова. Только спустя минуту память всё вернула.

Кто-то подёргал его за руку. Он открыл глаза. Над ним нависла медсестра. Щеки её пылали румянцем. Запах мороза смешивался с запахом табака.

– Олег Александрович! Вас переводят из реанимации в обычную палату. Как вы себя чувствуете? Надо перелечь на каталочку.

На вид ей было лет тридцать. Из-под шапочки выбивалась рыжая прядь.

– Давайте я вам помогу.

На каталку он переместился без всяких проблем, а вот когда везли по кафельному полу, сердце от частой тряски забило тревогу.

В палате ему что-то вкололи. Это принесло облегчение, и он задремал под неспешные разговоры других выздоравливающих мужчин.

## 1948–1949

Таня держала любимого под локоть. Шуринька от этого преисполнялся уверенностью, что всё будет как надо. Ему непременно удастся уберечь от неприятностей эту бесценную для него девушку, что бы ни случилось с ним самим, на какие бы острые колья его судьба ни бросила. Их близость, по большей части осторожная, нежная, но при этом до дрожи взаимная, наполняла их существование столь упоительным смыслом, что бытовые тяготы отходили на второй план.

Лапшин так изнурил себя ожиданием ареста, что уже его не боялся. Более того, начал предполагать, что его уничтожение – не первейшая цель органов. Никто не подвергает сомнению их полную власть над всеми людьми в СССР. Никто не в силах противиться им. Но раз они дали ему передышку, не лишили жизни, надо этим пользоваться.

Перестать бояться и сочинять музыку.

Этого они не в силах ему запретить.

Шнеерович нёс в темной авоське несколько бутылок шампанского и чудом где-то добытые в предпраздничной магазинной суете шоколадные конфеты в красной коробке.

Москва новогодне принарядилась окнами. Прихотливые гирлянды с лампочками, поблёскивавшие за заиндевевшими стёклами, не давали ночи воцариться в городе с обычной вальяжностью.

В знакомом переулке было как никогда людно.

Некоторые спешили, другие, наоборот, шли не торопясь, уже под хмельком, похохатывали, оживлённо что-то обсуждая.

Небо не потемнело до конца и нависало над городом плотным серым одеялом. В некоторых местах по небосводу неспешно ползли чуть отличающиеся от него по цвету клубы дыма из теплоцентралей.

С нарастающим шумом мимо Лапшина, Татьяны и Шнееровича пронеслись две «победы».

Из одного окна в доме дореволюционной постройки вылетали разудалые звуки баяна.

Войдя в подъезд, Таня и Шуринька долго отряхивали снег с сапог. Шнеерович наблюдал за этим не без любопытства, однако сам примеру друзей не последовал.

Большая квартира в преддверии Нового года избавлялась от своей коммунальности, превратившись в площадку для общего веселья. Конечно, единого стола не было, все накрывали в своих комнатах, но периодически заглядывали к соседям с просьбами: кому-то надо дать открывалку, кому-то одолжить немного соли, кому-то требовалась ещё табуретка, кто-то просил стаканы, если есть лишние.

Прежде чем дойти до цели, Шнеерович, Лапшин и Татьяна миновали людской затор в коридоре, где гости разных хозяев и хозяек смешались в возбуждённой суете восклицаний, объятий, поцелуев, шептаний на ухо и подсовываний друг другу каких-то свёртков и коробочек.

Когда Татьяна отворила дверь в комнату Людмилы и все увидели, что она пришла не одна, а с Шуринькой, раздались радостные восклицания и крики «Браво!». Лапшина приветствовали как героя, вернувшегося с победой, а не как несчастного язвенника, лишившегося двух третей желудка.

Людочка подскочила к нему первой, крепко обняла, прикоснулась к его волосам, словно проверяя, на месте ли они, потом чуть ущипнула его за щёку:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.